

МИНИ-КНИГА

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

*Зрелое слово страстной женщины —
о крови, любви, доме,
дружбе, Боге и достоинстве*

По «Истории моей жизни»
(*Histoire de ma vie*, 1854–1855)

*Charité envers les autres ;
Dignité envers soi-même ;
Sincérité devant Dieu.*

Милосердие к другим;
достоинство перед собой;
искренность перед Богом.

Оглавление

Вместо предисловия. Та, кто пришла к покою

Часть I. ДО ТЕБЯ — откуда ты родилась

- I.1. Кровь и предки
- I.2. Отец, которого не было
- I.3. Две женщины, делившие меня пополам
- I.4. В чьих руках ты на самом деле
- I.5. О строгости и страхе
- I.6. Корабле, или как ребёнок изобретает Бога

Часть II. СТАНОВЛЕНИЕ — как ты стала собой

- II.7. Земля, которая делает нас
- II.8. Монастырь и обращение
- II.9. Тёмная яма юности
- II.10. Чтение как формирование
- II.11. Лень и эгоцентризм юности
- II.12. Первый идеал

Часть III. СЕРДЦЕ — что ты узнала о любви

- III.13. Любовь — это трое
- III.14. Обман чувств
- III.15. Письма и близость на расстоянии
- III.16. Жалость — не любовь
- III.17. Когда любовь становится материнской

III.18. Об идиллии, выдуманной заранее

III.19. Брак как святыня

Часть IV. ДОМ — как ты строишь жизнь

IV.20. О мужчине: какова его мера

IV.21. О женщине: гордость, мера, стыдливость

IV.22. Материнство как ремесло

IV.23. Когда дочь против тебя

IV.24. Труд и хлеб

IV.25. Ноан: дом, удержанный живым

Часть V. МИР — как ты живёшь среди людей

V.26. Дружба, переживающая страсть

V.27. Дружба между мужчиной и женщиной

V.28. Учители зрелости

V.29. Народ и простые люди

V.30. Мужское платье и свобода

V.31. Свет, сплетни, клевета

Часть VI. ИТОГ — к чему она пришла

VI.32. Бог без церкви

VI.33. Сны и тихий голос

VI.34. Принять то, чего нельзя победить

VI.35. Искусство и форма, унесшая содержание

VI.36. К чему она пришла

Заключение. Эпиграф над собственной рукописью

Вместо предисловия. Та, кто пришла к покою

Есть книги, которые пишут от гордости, есть — от горя, есть — от скуки. Эта написана от зрелости. Иными словами, от желания передать то, что досталось ценою стольких лет и стольких ошибок, — передать так просто и честно, как только возможно, не ища ни оправдания, ни лавров, а лишь той пользы, которую приносит прожитый опыт, когда его не утаивают.

Она ставит во главу своей книги три слова — точнее, три заповеди, выкованные не из благочестия, а из жизни:

« *Charité envers les autres ; Dignité envers soi-même ; Sincérité devant Dieu.* »

«Милосердие к другим; достоинство перед собой; искренность перед Богом.»

Три слова. Молодая читательница может пройти мимо них, как проходят мимо эпитафий. Не проходи. Это весь итог бурной, страстной, долгой жизни, сжатый до трёх строк. За ними — детство, разорванное между двумя женщинами, ненавидевшими друг друга; юность, проведённая в монастыре и в полях Берри; замужество, оказавшееся ошибкой; уход в Париж с детьми и почти без средств; годы литературного труда, скандалов, великих дружб; любви, каждая из которых была ошибкой лишь отчасти; и наконец — тихий Ноан, вишнёвый сад, рабочий стол, седые виски и покой, не похожий на усталость.

Впрочем, она сама оговаривается — и это важно:

« *Le repos de l'esprit est venu ; celui du cœur ne s'est point fait et ne se fera jamais. Pour ceux qui sont nés compatissants, il y aura toujours à aimer sur la terre, par conséquent à plaindre, à servir, à souffrir.* »

«Покой духа пришёл; покой сердца не настал и никогда не настанет. Для тех, кто родился сострадательным, на земле всегда будет кого любить — а значит, и кого жалеть, и кому служить, и от кого страдать.»

Слышишь? Она не обещает тебе того, чего нет. Она говорит: дух может успокоиться, мысль может обрести равновесие — но сердце, если оно живо, будет болеть всегда. Не потому, что жизнь жестока, а потому, что всякое живое сердце причастно чужим страданиям, чужой радости, чужой судьбе, — и это причастие не прекращается. Зрелость не есть бесчувственность; зрелость есть умение нести боль с достоинством, не делая из неё ни спектакля, ни жертвенного алтаря.

Позволь мне сказать тебе, кто она такая, — не перечнем событий, а несколькими чертами, которые важнее любого перечня.

Она пишет эту книгу не для посмертной славы. Она пишет её, потому что считает своим долгом поделиться тем, что пережила:

« *C'est un devoir de faire profiter les autres de sa propre expérience.* »

«Это долг — поделиться с другими своим собственным опытом.»

Долг, а не прихоть. Обратная сторона этого слова такова: тот, кто прожил страсти и ошибки и всё же выжил духовно, — тот обязан об этом рассказать тем, кто идёт следом. Не для того, чтобы те не ошиблись: ошибки неизбежны, и она сама об этом скажет. А для того, чтобы те, кто ошибётся, знали, что из этого можно выйти, что жизнь после падения не кончается, что прощение — сначала прощение себя — есть условие всего остального.

Она странная фигура для своего века. Женщина, которая ходила в мужском платье по улицам Парижа — не из эксцентрики, а затем, чтобы свободно посещать театры по дешёвым билетам для стоячих мест. Женщина, которая брала в руки перо не из тщеславия, а потому что ей нужно было кормить детей и платить за дом в Берри. Женщина, которая прошла через великие страсти и написала о них так честно, как мало кто писал о своём сердце, — и в зрелости пришла не к цинизму, а к тому самому «покою духа», который страшнее всего напоминает мудрость.

Она пишет об этом с той особенной трезвостью, которая приходит к людям, много страдавшим без самообмана. Иные при приближении к старости начинают украшать свою юность, переписывать её задним числом, снимать с неё всё некрасивое и трудное. Она делает прямо противоположное:

« Dans ce calme de la pensée et dans cette résignation du sentiment, je ne saurais avoir d'amertume contre le genre humain qui se trompe, ni d'enthousiasme pour moi-même qui me suis trompée si longtemps. »

«В этом покое мысли и в этом смирении чувства я не могу ни питать горечи к роду человеческому, который ошибается, ни восторгаться собою, которая столь долго ошибалась.»

Это образцовая зрелость: не «меня не поняли», не «я была права», а — «я ошибалась так же, как все, и потому имею право говорить». Ключ к её авторитету не в её достижениях, а именно в этом признании: она ошибалась — и вышла. Это важнее, чем если бы она всегда поступала правильно.

Она начала писать «Историю своей жизни» в сорок два года и завершила её, уже перейдя за пятьдесят. Это не старость — это тот возраст, когда человек уже видел достаточно, чтобы говорить без горячности, и ещё не устал настолько, чтобы замолчать. «История» — не исповедь в узком смысле, не дневник и не биография, написанная для литературной истории. Это именно то, что она сама называет: урок. Рассказ о страданиях и борьбе — как способ принести другому пользу через собственный прожитый путь.

« *Le récit des souffrances et des luttes de la vie de chaque homme est donc l'enseignement de tous ; ce serait le salut de tous si chacun savait ce qui l'a fait souffrir et ce qui l'a sauvé.* »

«Рассказ о страданиях и борьбе каждого человека — это поучение для всех; это было бы спасением для всех, если бы каждый знал, что заставляло его страдать и что его спасло.»

Замечаешь ли ты в этой фразе нечто важное? Она не говорит: «что меня спасло» — она говорит: «что его спасло». Разговор сразу становится шире одной биографии. Это не нарциссизм мемуариста; это акт гражданского доверия — я расскажу тебе свои

ямы и свои выходы из них, потому что твои ямы будут другими, но устроены, вероятно, похоже, и, значит, ты можешь воспользоваться моей картой.

Между тем, она совсем не нравоучительна. Она не стоит над тобой и не поднимает палец. Она сидит рядом — и говорит. Иногда длинно, иногда осторожно, иногда почти неловко — потому что знает, как трудно принять правду чужой жизни, когда своя жизнь кажется единственной и небывалой. Но она знает также, что чужой опыт всё равно достигает нас — рано или поздно, кружным путём, через боль или через радость, — и потому говорит заранее, в надежде, что ты услышишь.

Я хочу пройти с тобой по этой книге, дочь моя. Не подряд, а по темам; не спеша, а вдумчиво. Я буду цитировать её по-французски и следом давать русский перевод — чтобы ты слышала её собственный голос, тот особенный, чуть торжественный, но живой голос женщины, которая умела думать и умела чувствовать одновременно и не считала эти два умения противоречивыми.

Я добавлю и кое-что от себя — потому что мужской взгляд здесь нужен не для возражений, а как медленный обертон, который только усиливает то, что она говорит. Мужчина, читающий её внимательно, узнаёт в её словах своих матерей, своих дочерей, своих любимых — и понимает, что эта женщина говорит о нас всех.

Эта часть книги — о том, что было до тебя. О детстве, которое делает нас. О родителях, которые не знают, что делают. О двух женщинах, разделивших одного ребёнка, как делят имущество. О слугах, которые знают о ребёнке больше, чем родители. О наказаниях, порождающих страх и ложь. О том, как маленькое

существо, не находя Бога в готовых формах, изобретает Его само — и не ошибается. И обо всём том, что вырастает из этого детства.

Прочсть эту книгу — значит побыть в обществе зрелой женщины, которая ничего от тебя не хочет, кроме одного: чтобы ты жила полнее, честнее и менее одиноко, чем она жила в те годы, когда ещё не знала того, что знает теперь.

Начнём с начала. С крови и предков.

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

ЧАСТЫ

ДО ТЕБЯ

откуда ты родилась



Глава I.1

Кровь и предки

Всякая жизнь начинается до рождения. Это не метафора и не парадокс — это просто правда, которую легко принять умом и трудно почувствовать сердцем. Она понимала это иначе, чем понимают большинство: не как родословное тщеславие и не как проклятие происхождения, а как нравственный факт, который нужно видеть ясно.

« *Toutes les existences sont solidaires les unes des autres, et tout être humain qui présenterait la sienne isolément, sans la rattacher à celle de ses semblables, n'offrirait qu'une énigme à débrouiller.* »

«Все существования солидарны друг с другом, и всякий человек, который представил бы своё в отрыве от других, дал бы только загадку, которую остаётся разгадывать.»

Подумай над этим. Ты не начало, а продолжение. Ты — точка в длинной линии людей, которые любили, страдали, выживали, передавали тебе не только черты лица и цвет глаз, но кое-что более тонкое и более важное: склонность к меланхолии или к веселью, порог терпения, способность прощать, то, что в народе называют «нравом». Она прекрасно это знала о себе — и не уклонялась от этого знания, хотя её собственные предки давали немало поводов для смущения.

По отцовской линии она происходила из рода, в котором незаконнорождённость отметила самого знаменитого предка — прадеда-маршала, потомка короля Польши, носившего великое имя. Её мать — дочь простого парижского торговца птицами с набережной у Сены. Между этими двумя линиями пролегла пропасть, которую не заполнить никакими брачными контрактами. Бабушка-аристократка смотрела на мать-парижанку с непреодолимым превосходством. Мать-парижанка отвечала той страстной, неукрощённой жизненной силой, которую ни одна аристократка не могла ни воспроизвести, ни полностью презреть. И вот в этом ребёнке — она сама, девочка из Берри, — текла и та и другая кровь: благородная и народная, выдержанная и огненная, саксонская хладность и испанская страсть.

Она не стыдилась ни одной из своих линий. Напротив:

« La race humaine n'est plus une cobue d'êtres isolés allant au hasard, mais un assemblage de lignes qui se rattachent les unes aux autres et qui ne se brisent jamais d'une manière absolue, quand même les noms périssent — médiocre accident dont les nobles seuls s'embarrassent. »

«Род человеческий — это не толпа разрозненных существ, идущих наугад, но собрание линий, которые переплетаются и никогда не обрываются окончательно, даже когда имена исчезают, — ничтожная случайность, которой смущаются одни лишь дворяне.»

«Ничтожная случайность». Она о потере имени, о потере родовой чистоты, о том, чем так дорожит дворянский мир. Для неё это мелочь. Линия идёт дальше — и не в именах, а в том, что не умирает: в уме, в чуткости, в готовности любить. Это наследство

важнее гербов.

Между тем, легко сказать «не стыдись своего происхождения» — труднее это пережить на собственной коже. Она знала, каково быть ребёнком, у которого бабушка — вдова из старинной семьи, а мать — из тех, кого называли «из народа». Она знала, как одна из этих линий может пытаться стереть другую. Она чувствовала это отчётливо: бабушка не пускала в дом единокровного брата девочки — потому что тот был «недостаточно благороден», потому что у неё не было нужных предков. И вот её вопрос, острый и горький:

« Comment pouvait-on se flatter de me faire oublier que je sortais du peuple, et de me persuader que l'enfant porté dans le même sein que moi, était d'une nature inférieure à la mienne? Quelle folie, ou plutôt quel inconcevable enfantillage ! »

«Как можно было льстить себя надеждою заставить меня забыть, что я вышла из народа, и убедить меня, что ребёнок, носимый в одном со мной чреве, уступает мне по природе своей? Какое безумие, или, точнее, какое невообразимое ребячество!»

Это не политическое суждение. Это суждение сердца. Ребёнок, выросший в двух мирах, отказывается признавать превосходство одного над другим, — и это отречение не из бунта, а из честности. Она видит в матери красоту, которую не видит бабушка. Она видит в бабушке достоинство, которого не понимает мать. Она обе линии держит в себе — и не разрывается. Из этой двойственности, впрочем, вырастает нечто замечательное: понимание того, что человека делает не происхождение, а то, что он с этим происхождением делает.

Её отец сам говорит в своих письмах о том, что теперь можно «деловать себе то, что прежде давала случайность рождения», что новое время предоставляет возможность отвоевать достоинство личным трудом и верностью своему долгу. Это не просто революционная риторика — это личная философия молодого человека, который чувствует за собою двойную историю и из обеих пытается сделать нечто цельное.

Она унаследовала это. Когда в Париже её называли «дочерью дерзкой», когда злопыхатели указывали на её происхождение из народа, когда насмешники вспоминали о птичнике на набережной, — она не отрицала и не унижалась. Она просто продолжала писать, продолжала растить детей, продолжала зарабатывать трудом. Достоинство — не то, что получают при рождении. Это то, что отвоёвывают каждый день.

Я добавлю от себя, как мужчина, которому довелось видеть немало людей с «сложным» происхождением. Те, кто стыдится своих предков, нередко строят из этого стыда всю свою жизнь: они либо отрекаются от «низкого» в себе и тем самым калечатся, либо нарочито выставляют его напоказ и тем самым превращают в позу. Но те редкие люди, которые принимают обе свои линии — и грубую, и тонкую, и народную, и благородную, — те оказываются самими цельными. В них есть укоренённость и движение одновременно: корни держат, крылья несут.

Вот урок, который мне кажется важным именно сейчас, для тебя: твоё происхождение — не твоя тюрьма и не твой приговор. Но оно и не случайность, которую следует презреть. Оно — твой материал. Что в нём есть грубого, неловкого, тёмного — то можно видеть ясно, не отворачиваясь, и сказать себе: я знаю, откуда это во

мне. Что в нём есть живого, цепкого, доброго — то можно принять как дар и возделывать дальше. Гордость происхождением — не та, что стоит над другими, а та, что знает себя: я продолжение длинной цепи людей, которые выжили и любили, и я не первая и не последняя в этой цепи.

Мне кажется важным здесь остановиться и сказать вот что: она сама, описывая своё происхождение с таким спокойствием, не всегда была спокойна в молодые годы. В юности она порой остро чувствовала эту двойственность как нечто мучительное — ни здесь, ни там, ни вполне аристократка, ни вполне дочь народа. Это ощущение разорванности между двумя мирами знакомо всем, кто вырос на границе между классами, между культурами, между семьями. И то, что она в зрелости сумела принять эту разорванность как богатство, а не как ущербность, — это и есть, быть может, самый важный её внутренний труд. Труд, которому не учат нигде и которому можно выучиться только у себя самого, в долгих ночных разговорах с собственной совестью.

Знай, дочь моя: ты тоже сделана из нескольких линий, и не все они равно красивы. Прими их все — не для того, чтобы оправдать худшее, а для того, чтобы понять его — и иди дальше.

• • •

Глава I.2

Отец, которого не было

Есть особая боль — любить того, кого почти не знала. Не боль от потери живого человека, которого помнишь ясно, которого можешь воспроизвести в памяти голосом, жестом, запахом. Другая боль — боль от образа, который нужно собирать по чужим словам и по письмам, как мозаику из разбитого стекла: и всё равно не уверен, что сложил правильно.

Ей было не более четырёх лет, когда умер её отец. Она не могла его помнить в полной мере — и всё же посвящает ему страницы, которые читаешь с ощущением, что это признание в любви, хотя предмет этой любви давно ушёл. Она восстанавливала его по письмам — по тем, которые он писал своей матери с военных кампаний: из Кёльна, с берегов Рейна, из Испании, с дорог чужих стран. Молодой офицер, пишущий матери о буднях похода, о товарищах, о лишениях — и в этих письмах живой голос, живой характер, живая нежность.

« Certes, je suis loin d'être dans la prospérité à l'heure qu'il est. Je suis soumis à toutes les corvées, à toutes les gardes, à tous les bivouacs... Eh bien ! fussé-je dix fois plus mal, je ne regretterais pas ce que j'ai fait, car je sens que personne n'a rien à me reprocher. »

«Конечно, я далеко от благополучия в нынешний час. Я несу все повинности, все стражи, все биваки... Что ж! Будь мне вдесятеро хуже, я бы не пожалел о сделанном, ибо знаю, что мне никто не вправе ничего поставить в упрёк.»

Читая это, она видела не героя и не мученика — она видела человека. Человека, который умеет переносить лишения с таким лёгким духом, что жалоба превращается в гордость. Она не выдумала этого отца, не романтизировала его сверх меры — и всё

же любила его тем особенным образом, каким любят тех, кого потеряли прежде, чем успели узнать.

Особенно трогает то, как она описывает один эпизод из своего самого раннего детства — переправу через реку, когда лодка начала тонуть. Отец, уже высадив мать и детей на берег, вернулся на тонущую шлюпку — спасать вещи, потом коляску, потом саму лодку. Мать кричала ему: «Брось всё, не рискуй жизнью!» — «Я лучше рискну, — ответил он, — чем оставлю свою саблю.» Может показаться, что это мальчишество. Но она видела в этом нечто другое — готовность рисковать собой ради чести, ради верности вещи, которой ты дал обязательство, пусть и неявное. Она замечает: он всегда действовал хладнокровно и с редким присутствием духа.

« La vie de cet homme fut un roman de guerre et d'amour, terminé à trente ans par une catastrophe imprévue. Cette mort prématurée le laisse à l'état de jeune homme dans la pensée de ceux qui l'ont connu. »

«Жизнь этого человека была романом войны и любви, оконченным на тридцатом году непредвиденной катастрофой. Эта ранняя смерть навсегда оставляет его юношей в памяти знавших его.»

Она сама произносит это с нежностью и с долей горечи. Роман, который кончился прежде, чем вышла его лучшая глава. И она — дочь этого романа, продолжение, о котором отец, может быть, и не вполне догадывался. Его смерть произошла так неожиданно, что ребёнок поначалу не вполне понял произошедшего; лишь много дней спустя, увидев весь дом в трауре, девочка спросила мать: «Папа разве ещё умер сегодня?» — и эти слова,

вырвавшиеся в детской непосредственности, причинили матери острую боль.

Между тем сам отец в письмах писал жене — и из этих строк тоже видна та любовь, которая передалась дочери не напрямую, а через чужое свидетельство:

« *Il n'est pas un instant dans ma vie où je ne pense à toi ; il n'est rien qui vaille pour moi la modeste chambre de ma chère femme. C'est là le sanctuaire de mon bonheur.* »

«Нет минуты в моей жизни, когда я не думаю о тебе; ничто не сравнится для меня со скромной комнатой моей дорогой жены. Это святилище моего счастья.»

Читая эти слова уже взрослой, она видела в отце нечто, чего, быть может, сама искала в жизни: способность соединить в себе воина и любящего человека без противоречия. Любить так просто и так полно — и при этом не терять ни достоинства, ни мужества. Это соединение простоты и силы в любви — то, о чём она впоследствии будет писать в своих романах, то, что будет искать и не всегда находить.

Я добавлю от себя, как мужчина. Есть что-то важное в том, чтобы искать образ отца — пусть по письмам, пусть по чужим рассказам, пусть по скудным воспоминаниям. Это не сентиментальность, а нечто более серьёзное: понимание того, откуда в тебе то, что в тебе есть. Её отец писал матери с такою нежностью и такою прямою — и она, сама став писателем, писала своей матери с теми же свойствами: нежность и прямота, никаких хитростей, никаких умолчаний. Черты характера переходят — не всегда те, что мы ожидаем, и не всегда так, как мы

думаем, но переходят.

Отец умирает молодым — и дочь всю жизнь будет искать то, что в нём было, в других людях: в мужьях, в друзьях, в возлюбленных. Это не слабость и не незаконченная история. Это естественный след незавершённой встречи. Душа ищет то, чего не получила сполна — и иногда находит, и иногда устаёт искать, и иногда решает создать найденное из себя самой.

Восстановленный образ отца — это тоже твоё создание. Ты лепишь его из писем, из рассказов, из собственного желания иметь кого-то сильного и любящего рядом. И значит, этот образ несёт в себе не только правду о нём, но и правду о тебе. Гляди на него честно — и ты увидишь сразу двоих.

Между тем в письмах отца есть ещё одна черта, которую она подчёркивает особо: его умение любить без тщеславия. Он пишет матери из похода: я не завидую тем, кто достиг высокого положения по праву рождения; мне важнее то, чего я добился своим трудом и своей верностью. Это не поза и не риторика — это искреннее убеждение молодого человека, который слишком рано понял, что достоинство нельзя унаследовать. Его можно только выработать — терпением, верностью, спокойным принятием трудного. Она унаследовала от него именно это: способность смотреть на собственные лишения без жалости к себе и без злобы на тех, кому легче. Это редкое качество — и она знала его цену.

Дочь моя, если ты потеряла кого-то прежде, чем успела узнать до конца, — не торопись ни идеализировать, ни отвергать этот образ. Ищи живого человека в воспоминаниях тех, кто знал его. Он окажется сложнее твоей идеи о нём — и от этого станет ближе.



Глава I.3

Две женщины, делившие меня пополам

Бывают войны, которые ведут не армии, а две женщины над одним ребёнком. Эту войну не объявляют вслух — она идёт в жестах, в молчаниях, в том, как звучит имя другой, когда ты нет рядом. Ребёнок чувствует её раньше, чем начинает понимать слова, и несёт её в себе ещё долго после того, как обе стороны замирились или умерли.

Она описывает двух женщин своего детства с той беспощадной точностью, которая возможна лишь у человека, давно их простившего:

« C'était vraiment les deux types extrêmes de notre sexe : l'une, blanche, blonde, grave, calme et digne dans ses manières, une véritable Saxonne de noble race, aux grands airs pleins d'aisance et de bonté protectrice, l'autre, brune, pâle, ardente, gauche et timide devant les gens du beau monde, mais toujours prête à éclater quand l'orage grondait trop fort au dedans, une nature d'Espagnole jalouse, passionnée, colère et faible, méchante et bonne en même temps. »

«Это и вправду были два крайних женских типа: одна — белокуроя, белая, строгая, спокойная, с достойными манерами, подлинная саксонка знатного рода, со стройными ухватками, полными непринуждённости и покровительственной доброты;

другая — смуглая, бледная, пылкая, неловкая и робкая в свете, но всегда готовая вспыхнуть, когда гроза слишком долго гремела внутри, — натура ревнивой испанки, страстная, вспыльчивая и слабая, злая и добрая одновременно.»

Бабушка-аристократка и мать-парижанка. Обе любили девочку. Обе тянули её к себе. Обе, по всей видимости, ни секунды не думали о том, что тянут её не к жизни, а прочь от другой половины этой жизни. Ибо в ребёнке текла кровь обеих — и когда ребёнка заставляли выбирать, его разрывали пополам. Не грубо, не жестоко — но неотступно.

После смерти отца горе ненадолго сближает этих двух женщин. Дошедшие до нас страницы описывают это сближение с редкостной чуткостью: бабушка открывает в матери красоту, которой прежде не замечала; мать смягается перед достоинством свекрови. Но затем — снова расходятся. Начинается негласный торг, в котором ребёнок — не субъект, а предмет договора: его делят, его перетягивают, за него соглашаются и отказываются. Бабушка хочет полного попечения над воспитанием девочки. Мать не может расстаться с дочерью. И ребёнок, живя в этом споре, учится очень быстро тому, чему лучше бы не учиться: искусству угождать обеим сторонам одновременно, говорить каждой то, что та желает слышать, и молчать о том, что причиняет боль.

« *Il faut pourtant la peindre tout entière, cette femme qui n'a pas été connue... Elle était pleine de contrastes, c'est pour cela qu'elle a été beaucoup aimée et beaucoup haïe ; c'est pour cela qu'elle a beaucoup aimé et beaucoup haï elle-même. »*

«Надобно всё же написать её полностью, эту женщину, которую не поняли... Она была полна противоречий — оттого её

много любили и много ненавидели; оттого она и сама много любила и много ненавидела.»

Здесь она пишет о матери — с пониманием, какое даётся только зрелостью. Не «моя мать была права», не «моя мать была виновата». А: она была полна противоречий. Она была человек со своей историей, со своей болью, со своим неумением сдерживаться — и это объясняет всё, хотя и не оправдывает ничего конкретного. Эта фраза, написанная из зрелости, есть образец того прощения, о котором легко говорить и очень трудно достичь: прощения, которое видит человека ясно — без иллюзий о его добродетелях, но и без злобы на его недостатки.

Особенно больно то, что обе эти женщины в своей взаимной вражде использовали ребёнка неосознанно. Они не замыслили причинить ему вред — они просто были слишком поглощены друг другом. Бабушка в своём аристократическом попечении не всегда оставляла девочке её собственную мать; мать в своей ревнивой любви не всегда позволяла ребёнку дышать тем тихим достоинством, которое давало бабушкино воспитание. Ребёнок тосковал по одной в объятиях другой — и это двойное тоскование было, возможно, первым из его больших одиночеств.

Страдание ребёнка, оказавшегося меж двух враждующих лагерей, она не замазывает: маленькое сердце разрывалось. И вот что важно — она признаёт, что в зрелости сумела простить обеих. Не потому, что они были правы, а потому, что поняла: они не ведали, что творили. Они просто жили своими войнами и не замечали, что ребёнок — не поле боя, а живая душа.

Я добавлю одно, как человек, наблюдавший многих детей в похожих обстоятельствах: ребёнок, попавший в такую войну,

очень рано учится притворяться. Он говорит каждой стороне то, что та хочет услышать. Он не лжёт из низости — он лжёт из страха потерять любовь. Это первая большая ложь в жизни, и она даётся тяжело. Но впоследствии, если не разобраться с этим честно, из неё вырастает привычка угождать — сначала матерям, потом мужьям, потом обществу — и никогда не говорить прямо того, что думаешь. Взрослые, которые делят ребёнка, не понимают, что они не побеждают друг друга. Они только учат ребёнка бояться.

Впрочем, она видит в этой истории нечто выходящее за рамки её собственного детства. Когда двое взрослых ненавидят друг друга из-за ребёнка, они, как правило, убеждены, что борются за его благо. Каждая сторона искренне верит, что именно она знает лучше, как вырастить его правильно. Бабушка считала, что мать слишком груба и безалаберна; мать считала, что бабушка слишком холодна и надменна. Обе были отчасти правы — и обе совершенно упускали из виду то единственное, в чём ребёнок нуждается прежде всего: не в «правильном» воспитании, а в мире. В том, чтобы утром не думать, чей сегодня день. В том, чтобы любовь к одной не была изменой другой. В простой, спокойной возможности любить обоих — без выбора, без цены.

Дочь моя: если у тебя когда-нибудь будут дети — помни это. Ребёнок не выбирает между тобой и другим. Он любит обоих — и твоя война с другим для него есть война с самим собой. Дай ему мир — это единственная победа, которая имеет смысл.

• • •

В чьих руках ты на самом деле

Есть в жизни ребёнка один человек, о котором взрослые думают меньше всего, — и который при этом знает ребёнка лучше всех. Это не мать и не отец. Это та, кто рядом с утра до вечера: бонна, нянька, горничная, служанка. Та, кто водит ребёнка за руку по саду, кормит его обедом, укладывает спать, выслушивает детские жалобы и принимает первые детские признания.

Родители видят ребёнка по утрам и по вечерам — лучшим или утомлённым, когда он уже отыграл, что мог, перед взрослыми. А вот каков он в середине дня, когда некому притворяться, — это знает только бонна.

Она пишет о своей бонне Розе с удивительной смесью нежности и правды. Роза была сильная, деятельная, преданная женщина, которая умела всё: и верхом скакать, и колесо починить, и дорогу найти в любую непогоду. Её ценили как надёжного человека. Она любила девочку, которую нянчила с первых лет, — любила по-своему, искренне. И при этом, когда девочка подросла и вышла из той поры, когда её носят на руках, — начала с нею обращаться так, как обращались с ней самой в детстве: то есть с грубостью, не знающей удержу.

« Rose était une rousse forte, active et intrépide... Elle était laborieuse, courageuse, adroite, propre... franche, juste, pleine de cœur et de dévouement. Mais elle avait un défaut cruel... Elle était violente et brutale. »

«Роза была рыжая, сильная, деятельная и бесстрашная... Трудолюбивая, смелая, ловкая, аккуратная... прямая, справедливая, с добрым сердцем и преданностью. Но у неё был

жестокий недостаток... Она была вспыльчива и груба.»

Это описание стоит перечитать дважды. Сначала — длинный ряд достоинств, искренних и неоспоримых. Потом — одна черта, которая перечёркивает покой ребёнка. Она не злая, эта женщина. Она просто несдержанна — и это несдержанство изливается на того, кто меньше и кто от неё зависит.

Девочка не жаловалась. Когда мать напрямую спросила её: «Она тебя бьёт?» — ребёнок солгал: «Нет». Не из покорности — из любви к бонне, которую не хотел губить. Это первый в её жизни опыт сознательной лжи, и она запомнила его навсегда — не как грех, а как зёрнышко понимания: иногда ложь рождается из сострадания, а не из трусости.

« Je vis qu'il fallait mentir pour la première fois de ma vie, et mentir à ma mère ! mon cœur fit taire ma conscience. Je mentis... Je n'en eus point de remords, je l'avoue. Mon mensonge ne pouvait nuire qu'à moi. »

«Я поняла, что должна солгать впервые в жизни — и солгать матери! Сердце заглушило голос совести. Я солгала... Я не испытала от этого раскаяния, признаюсь. Моя ложь могла повредить только мне.»

Здесь, между прочим, виден характер. «Не нуди куда только мне» — это не равнодушие к себе, это своеобразное великодушие: я возьму боль на себя, лишь бы не причинить вред тому, кто мне дорог, пусть даже тот, кто дорог, причиняет мне боль. Этот характер останется с ней на всю жизнь — и принесёт ей немало страданий, и немало благородства.

Но вот что глубже этого конкретного случая: ребёнок находился в руках человека, о котором мать знала лишь то, что ей позволяли знать. А не позволяли ей знать многое — потому что ребёнок молчал, потому что свидетелей не было, потому что в большом провинциальном доме комнаты детской родители не видят часами. То, что происходило там, оставалось между бонной и девочкой. Взрослые видели благопристойную поверхность; изнанку скрывало молчание.

Это урок, который зрелая Санд передаёт не с укором, а с горькой точностью. Дети, которых оставляют на попечение чужих людей, — не бесчувственные существа, которых можно доверить любому, кто умеет за ними следить. Они — тонкие, незащищённые создания, и тот, кто рядом с ними ежедневно, лепит их характер так же, как лепит его мать: словами, тоном, прикосновением, наградой и наказанием.

Впоследствии — когда мать, заметив, что девочка при виде Розы пятится, напрямую призвала бонну к ответу, — выяснилось многое. Мать была резка и прямолинейна в своих требованиях к прислуге: её дело — растить ребёнка, а не изводить его. И в этой прямолинейности матери-парижанки есть, при всей её неотёсанности, нечто важное: она не позволяет тому, кому платит, мучить то, что любит.

Я добавлю от себя, потому что это относится к тебе напрямую — и к той, которой ты, может быть, когда-нибудь станешь: узнай, кто рядом с твоим ребёнком. Не по рекомендательным письмам — по поведению ребёнка. Если маленькое существо бежит к этому человеку радостно — хороший знак. Если пятится — плохой. Если плачет, когда ты уходишь, но успокаивается сразу — одно

дело; если не успокаивается никогда — другое. Ребёнок не умеет лгать телом: тело скажет тебе правду прежде, чем он найдёт слова.

И ещё: не наказывай ребёнка за то, что он тебе не рассказал. Иногда молчание — это не обман. Иногда это верность, сострадание, а иногда — просто непонимание того, что взрослый может помочь. Учи его рассказывать — без страха, что рассказ обернётся чьей-то карой.

Здесь стоит прибавить одно наблюдение, которое, может быть, покажется жёстким, но которое я считаю верным. Ребёнок, которого оставляют на попечение бонны и которого редко видят родители, начинает очень рано жить двойной жизнью. Одна жизнь — «для взрослых»: выровненная, благопристойная, без лишних слёз. Другая жизнь — та, что идёт в детской, в саду, в тёмном коридоре. Взрослые, которые думают, что они знают, как живёт их ребёнок, — часто знают лишь первую жизнь. Вторую им рассказывают только те дети, которых научили не бояться рассказывать. И этой способности — говорить взрослым правду без страха — не научишься из книг. Её нужно ввести в жизнь ребёнка самым своим примером: тем, что ты сама говоришь правду, что ты не наказываешь за правду, что ты умеешь слушать то, что неприятно слышать.

Она вспоминала Розу без злобы — и это, пожалуй, самый важный итог. Та умела любить по-своему, грубо, но искренне. И это тоже правда. Дочь моя, не все люди, которые делали тебе больно, делали это из ненависти. Иногда — из избытка нрава, из незнания меры, из того, что их самих воспитали так же. Понять это — не значит оправдать. Это значит не отравить собственное сердце злостью на тех, кто просто не умел иначе.



Глава I.5

О строгости и страхе

Мне сдаётся, что среди всего, что она оставила нам об отроческих годах, нет ничего важнее, чем эти несколько страниц о наказаниях. Не потому, что она особенно пострадала от них — страдала, бывало, но переносила. А потому, что она поняла о них нечто такое, чего не понимают многие родители и многие наставники: наказание, основанное на страхе, не воспитывает. Оно только учит бояться — и скрывать.

Читая об её отрочестве в большом провинциальном доме, наблюдаешь одну неизменную закономерность: строгость, которая не опирается на уважение, порождает не послушание, а искусство уклонения. Ребёнок делает вид, что слушается, — и лжёт. Мало-помалу ложь становится привычкой, а привычка — второй натурой. Внешне всё выглядит благопристойно; внутри копится нечто, что в своё время выйдет — с запасом.

Вот что она сообщает о своей бонне Розе, чья строгость принимала самые грубые формы:

« *Si je pleurais, j'étais battue plus fort ; si j'avais eu le malheur de crier, je crois qu'elle m'aurait tuée, car lorsqu'elle était dans le paroxysme de la colère, elle ne se connaissait plus. Chaque jour l'impunité la rendait plus rude et plus cruelle.* »

«Если я плакала — меня били сильнее; если мне случалось кричать, я думаю, она убила бы меня, ибо в приступе гнева она не помнила себя. Каждый день безнаказанность делала её грубее и жестокосерднее.»

Это не исключительная история. Это вечный механизм: власть без надзора растёт. Тот, кто имеет над кем-то власть и не встречает ни сопротивления, ни последствий, начинает злоупотреблять ею не по злему умыслу, а потому что её никто не ограничивает. И первая жертва этого механизма — всегда самый незащитный. Не тот, кто слабее физически, а тот, кто молчит из любви или из страха.

Впрочем, дело не только в слугах. Она глубже смотрит и видит то же самое в педагогических системах вообще. Строгость бабушки-аристократки была иного рода — утончённой, внешне мягкой, опирающейся не на ремень, а на стыд и на «вы»:

« Il ne fallait plus se rouler par terre, rire bruyamment, parler berrichon. Il fallait se tenir droite, porter des gants, faire silence... Ma fille, vous vous tenez comme une bossue ; ma fille, vous marchez comme une paysanne... Trop grande ! j'avais sept ans, et on ne m'avait jamais dit que j'étais trop grande. »

«Нельзя было больше кататься по полу, громко смеяться, говорить по-берришски. Надо было стоять прямо, носить перчатки, молчать... Дочь моя, вы держитесь как горбунья; дочь моя, вы ходите как крестьянка... Слишком большая! Мне было семь лет, и никогда прежде мне не говорили, что я слишком большая.»

Это другая строгость — без насилия, но также действующая через страх. Страх оказаться некрасивой, неловкой, недостойной; страх быть хуже тех, кого ставят тебе в пример; страх, что тебя не полюбят, если ты будешь собой. Этот страх, пожалуй, глубже бьёт, чем ремень: он остаётся дольше и уходит труднее. Тело забывает удар; душа долго помнит тот взгляд, который говорил «ты недостаточна».

Она рассказывает, как бабушка-аристократка из лучших побуждений пыталась ей объяснить что-то о матери, но сделала это так, что ребёнок вышел не с пониманием, а с ужасом:

« *Ma pauvre bonne maman, épuisée par ce long récit, hors d'elle-même, la voix étouffée, les yeux humides et irrités, lâcha le grand mot, l'affreux mot : Ma mère était une femme perdue.* »

«Моя бедная добрая бабушка, измотанная долгим рассказом, вне себя, с задвленным голосом, с влажными и раздражёнными глазами, произнесла великое слово, страшное слово: моя мать была погибшая женщина.»

И вот итог: ребёнок в ужасе, любовь к матери не ослаблена, а придавлена страхом и стыдом, — но из этого не рождается ни ясность, ни освобождение, а только смятение, из которого нет выхода, пока не придёт зрелость и не принесёт прощения сразу всем.

Что же тогда воспитывает? Она отвечает на это не декларацией, а собственным примером: то, что её формировало по-настоящему, — не запреты и не наказания, а примеры. Образ отца, восстановленный из писем. Сила матери, умевшей дружить с природой и с красотой. Книги. Простор полей Берри. Живое,

незапуганное сердце — её собственное, которое никакая строгость не сумела убить окончательно, хотя и пыталась.

Послушание из любви — прочно. Послушание из страха — хрупко и ненадёжно: исчезнет в ту же минуту, как исчезнет то, чего боялись. Человек, который научился делать правильное потому, что не хотел наказания, — прекращает делать правильное, как только наказание перестаёт грозить. Человек, который научился делать правильное потому, что ему это кажется правильным, — продолжает делать правильное и без надзора, и без угрозы, и в темноте.

Она добавляет к этому наблюдению одну важную оговорку: сама она не держит зла на тех, кто когда-то пугал и наказывал её. Они действовали в рамках того, что считали правильным; они воспроизводили то, что знали. Это не оправдание — это объяснение. И между объяснением и оправданием — пропасть, которую важно не перепрыгивать. Понять причину жестокости не значит согласиться с жестокостью. Но понять её значит перестать носить в себе жертву — перестать быть маленькой девочкой, которую пугали, и стать взрослой женщиной, которая видит это ясно и идёт дальше. Это и есть то прощение, о котором она говорит: не отпущение греха ради другого, а освобождение себя от груза чужой несправедливости.

Дочь моя, запомни это хорошенько — и для себя, и для тех, кого будешь воспитывать или кому будешь помогать расти. Добиться послушания страхом легко и быстро; вырастить человека, который поступает хорошо потому, что сам хочет поступать хорошо, — долго и трудно. Но только второе остаётся, когда первого уже нет рядом.



Глава I.6

Корамбе, или как ребёнок изобретает Бога

Есть вещи, которые нельзя передать ребёнку извне. Их нужно пережить изнутри — иначе они останутся пустым словом. Вера — из их числа.

Ей давали уроки закона Божьего. Ей объясняли катехизис. Ей говорили, что должно думать о Боге, о смерти, о грехе. Бабушка имела своё просвещённое деизм, мать — живую, не вполне упорядоченную набожность, близкую к народному чувству. Один из её наставников читал ей историю религий как нечто познавательное — без обязательства принять. И вот девочка оказалась перед пёстрым рядом богов и вер, среди которых не было ни одной, которая взяла бы её целиком.

« De toutes les religions qu'on me faisait passer en revue comme une étude historique pure et simple, sans m'engager à en adopter aucune, il n'y en avait aucune, en effet, qui me satisfît complètement, et toutes m'attiraient par quelque endroit. »

«Из всех религий, которые мне давали обозреть как чистое историческое знание, не обязывая принять ни одну, ни одна в самом деле не удовлетворяла меня вполне, и все меня чем-нибудь привлекали.»

Тогда она сделала то, что делают дети в подобных обстоятельствах, — изобрела собственного бога. Назвала его Корамбе.

Корамбе был существом без пола — иногда являлся в образе юноши, иногда женщины, иногда голоса в листве. Он был добр, как Иисус, прекрасен, как Гавриил, с чем-то от изящества нимф и поэзии Орфея. Он не требовал жертвоприношений — напротив: девочка решила, что лучшее подношение ему — освобождение живых существ. Она ловила птиц и бабочек, несла их к тайному алтарю в лесу и выпускала на волю.

« Corambé se créa tout seul dans mon cerveau. Il était pur et charitable comme Jésus, rayonnant et beau comme Gabriel ; mais il lui fallait un peu de la grâce des nymphes et de la poésie d'Orphée. Il n'avait pas de sexe et revêtait toutes sortes d'aspects différens. »

«Корамбе создался сам по себе в моём мозгу. Он был чист и милосерден, как Иисус, лучезарен и прекрасен, как Гавриил; но ему нужна была немного грация нимф и поэзия Орфея. У него не было пола, и он принимал самые разные облики.»

Тайный алтарь был устроен в укромном месте парка, среди мха и папоротников. Она сносила туда самые красивые камешки, цветы, перья птиц, — и выпускала на свободу пойманных живых существ, принося их в жертву, которая ничего не уничтожала, а только освобождала. «Я думаю, — пишет она, — что я стала чем-то вроде этого бедного безумца, что искал нежности. Я просила её у лесов, у растений, у солнца, у животных, у какого-то невидимого существа, которое жило только в моих снах.»

Вот в чём суть: она искала любви вне себя — потому что внутри себя было слишком пусто и тоскливо. Вражда двух женщин, которые делили её, ранняя смерть отца, постоянная неопределённость её места в жизни — всё это создавало в ней потребность в чём-то устойчивом, добром и надёжном. Корамбе был ответом на эту потребность. Не ложным ответом, заметь: он был, в сущности, первым образом того Бога, которого она позднее назовёт «основоположениями во мне, но не от меня».

« En revanche, l'amitié, l'amour filial ou fraternel, la sympathie, l'attrait le plus pur, régnaient dans cette sorte de monde enchanté : mon cœur comme mon imagination étaient tout entiers dans cette fantaisie, et quand j'étais mécontente de quelque chose ou de quelqu'un dans la vie réelle, je pensais à Corambé avec presque autant de confiance et de consolation qu'à une vérité démontrée. »

«Зато дружба, любовь сыновняя или братская, сочувствие, самое чистое влечение — всё это царствовало в том замороженном мире: сердце моё и воображение мои были всецело в этой фантазии, и когда что-то или кто-то в жизни меня огорчал, я думала о Корамбе почти с той же уверенностью и утешением, как думают о доказанной истине.»

«Почти с той же уверенностью, как думают о доказанной истине.» Вот тут и есть всё о вере. Вера не доказывает — она утешает и укрепляет. Она создаёт внутреннюю инстанцию, к которой обращаешься, когда внешняя жизнь оказывается холодна или враждебна. И если эта инстанция добра — а Корамбе был добр прежде всего — она порождает в человеке не покорность страху, а тихую уверенность в правоте добра.

Что такое этот Корамбе? Психолог нашего времени назвал бы его «воображаемым другом». Историк религий — детской мифологией. Но она сама нашла точнее всего: в нём не было ничего от заимствованного религиозного начала, но было всё от чувства, которое ищет себе форму ещё до всякой догмы. Вера ищет форму до догмы. Это одна из самых глубоких её мыслей. Ребёнок не начинается с доктрины; он начинается с ощущения — что мир не случаен, что где-то есть начало добра, что существует нечто, к чему можно обратиться в минуту одиночества. Это ощущение первично; оно старше любого катехизиса. Катехизис его только оформляет — хорошо или плохо, смотря по тому, насколько форма точно соответствует содержанию.

Она не осмеивает свой детский миф. Когда она вспоминает о Корамбе в зрелые годы, в её словах нет снисходительной улыбки умного взрослого над глупым ребёнком. Она, пожалуй, видит в нём нечто верное — предчувствие того Бога, которого откроет для себя позже: не Бога церковного суда, а того, кто «во мне, но не от меня», кто есть свет в основоположениях, кто говорит внутри сердца тогда, когда всё внешнее молчит.

Жизнь не дала ей в детстве ни одной устойчивой религиозной точки опоры. Взрослые спорили о Боге, объясняли Бога, использовали Бога как аргумент в своих ссорах. Ребёнок отошёл от их споров в тихий парк — и создал там своего Бога: доброго, красивого, не требующего ничего, кроме свободы живых существ. Это детское богословие не вполне правильно с догматической точки зрения. Но оно правильно с нравственной — и именно оно пережило все догматические перемены её жизни.

Она сохранила своего Корамбе в тайне много лет. Не потому, что боялась насмешки — хотя и это, наверное, было. А потому, что тайна была частью этого бога: он существовал в том пространстве, куда взрослым не было входа, — и в этом состояла его сила. Как только тайна выходит наружу, она теряет часть своей власти. Ребёнок это знает инстинктивно. Он строит своё священное место там, где взрослые не ходят, — в тёмном углу парка, в пустом чулане, в воображении. И это священное место — не бегство от жизни, а её продолжение иным способом: способом, который позволяет маленькой душе собраться с силами, прежде чем снова выйти к тем, кто старше и громче. Корамбе давал ей именно это: тихое место, куда всегда можно вернуться.

Дочь моя: если ты в детстве тоже придумала что-то похожее — какого-то доброго духа, которому шептала по ночам, какой-то образ, к которому обращалась в трудные минуты, — не стыдись этого. Это не суеверие и не незрелость. Это означало только одно: твоё сердце с самого начала знало, что мир не исчерпывается тем, что видно. Что есть что-то большее — доброе и терпеливое — и что к нему можно идти. Форма этого «большого» будет меняться всю твою жизнь. Но само движение к нему — самое важное движение, которое есть в человеке.

Наш разговор о детстве этой женщины подходит к концу — и именно здесь, на образе ребёнка, тайно выпускающего птиц в честь своего выдуманного бога, мне хочется остановиться и сказать тебе: детство не кончается. Оно продолжается в нас — в тех склонностях, которые мы не выбирали, в тех страхах, которые нас сформировали, в той тоске по Корамбе, которая принимает во взрослой жизни разные имена: дружба, любовь, искусство, вера.

Она не избавилась от своего детства — она его поняла. И это понимание, добытое терпением и честностью, превратило всё пережитое в источник мудрости, а не в груз. Именно этому и учит нас её «История» — и именно с этой надеждой мы продолжаем идти дальше.

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

ЧАСТЬ II

СТАНОВЛЕНИЕ

как ты стала собой



Глава II.7

Земля, которая делает нас

Есть вещи, которые не поддаются ни воспитанию, ни обдумыванию, ни даже самому искреннему намерению: они просто входят в нас через подошвы ног, через запах первой травы после дождя, через то, как пахнет земля в усадьбе, где ты провела детство. Эту родину — не ту, что обозначена в документах, а ту телесную, нутряную, — не выбирают; она выбирает тебя, и никакая другая после неё не станет первой. Можно прожить всю жизнь далеко от неё, можно найти другие дома, полюбить другие края; и всё же — в каком-то глубинном смысле, который трудно объяснить словами и который тело знает без слов — ты будешь принадлежать той первой земле.

Берри — равнинная земля в самом сердце Франции, не нарядная, без гор и живописных побережий, без того, что путешественники записывают в свои тетради и потом рисуют в альбомы. Но именно такая земля, серая, упрямая, с широкими небесами над бесконечными хлебными полями, с тихими реками и дубовыми перелесками, становится настоящей родиной — потому что в ней нет ничего лишнего, нет декорации, а есть только суть. Ноан стоит на этой земле как дом, умеющий ждать: сколько бы ты ни уходила, он знает, что ты вернёшься. И когда возвращаешься — земля принимает тебя обратно без упрёка, без расспросов, без того тягостного «где же ты была», которым

встречают тебя люди после долгой разлуки.

Она писала об этом прямо, и слова её просты так, как бывают просты только самые верные мысли:

« Je n'ai pas besoin d'un coin de ciel où il pleuve toujours, ni d'une mer toujours agitée. J'ai besoin d'une campagne que je connaisse, que j'aime, que j'aie en moi. » «Мне не нужен уголок неба, где всегда идёт дождь, и не нужно всегда бурное море. Мне нужна такая деревня, которую я знала бы, любила, носила бы в себе.»

«Носила бы в себе» — вот самое точное слово. Пейзаж, который ты несёшь в себе, — это не картина, не воспоминание и не сентиментальное украшение памяти. Это телесный ориентир: когда ты уходишь от него слишком далеко — тебе становится не по себе, а когда возвращаешься — тело успокаивается прежде, чем ты успеваешь подумать. Именно это она разумела под словом «родина»: не государство, не флаг, не язык даже — а конкретная земля, под конкретным небом, с конкретным запахом прогретого за лето луга.

Между тем то, что делает пейзаж родным, — не его красота и не его знаменитость. Здесь нет ни единого места, которое привлекало бы туристов; здесь нет ничего, о чём пишут в путеводителях. Есть только длинные берриские сумерки, когда небо над полями переходит из жёлтого в лиловое, и тишина, которую не нарушает никакой чужой голос. Эта тишина, она утверждала, была лучшим собеседником её юных лет — лучшим, чем книги, лучшим, чем люди; она учила слушать то, что в городском шуме совершенно не слышно. Берриские крестьяне, которых она знала с детства, несли в себе эту же тишину — не как пустоту, а как достоинство людей,

привыкших жить в согласии с землёй, а не поперёк неё. Она любила их за это, за ту безыскусную укоренённость, которой у горожанина, как правило, нет.

Вот почему главные мысли о Боге, о смысле жизни, о том, чем она хочет быть, — приходили ей не в монастырской церкви, не над философскими страницами, а в поле, в лесу, во время долгих прогулок верхом по окрестным дорогам. Природа берриских равнин была для неё не живописным фоном, не источником поэтических образов для романов — а подлинным собеседником. Она спрашивала в тишине, и тишина отвечала — не словами, а тем, что после долгого молчания внутри неожиданно становилось чуть яснее. Кто не знал этого опыта, тому трудно объяснить; кто знал — тот понимает с первого слова. Природа не давала ей готовых ответов — она давала то, без чего ответы не рождаются: одиночество, протяжённость и тишину. Небо над берриской равниной не спрашивает тебя, кто ты такая и что ты о себе думаешь. Оно просто есть — большое и терпеливое. И рядом с этим большим и терпеливым что-то в тебе самой успокаивается и находит свой настоящий масштаб.

« *La nature est la grande consolatrice. Elle ne guérit pas, elle console.* » « *Природа — великая утешительница. Она не исцеляет — она утешает.* »

Заметь это различие: не исцеляет — утешает. Земля не берёт твою боль и не уничтожает её; она лишь становится рядом, большая и молчаливая, и уже от одного этого соседства боль делается чуть менее непереносимой. Пейзаж — это не лекарство; это присутствие. Когда всё вокруг требует от тебя ответа, решения, объяснения — природа не требует ничего. Она принимает тебя

такой, какая ты есть в эту самую минуту, — растерянной или счастливой, усталой или полной сил. И это принятие без условий есть одно из редких подлинных утешений, доступных нам на земле.

Именно поэтому она удерживала Ноан всю жизнь — через нужду, через разные времена и обстоятельства, через годы, когда Париж требовал всего её внимания. Ноан не был для неё «домом в деревне», то есть удобным загородным убежищем. Он был телесной родиной, тем местом, где тело знает, что оно дома, и только в котором душа могла отдохнуть по-настоящему. Она превратила этот дом в живое место: приглашала гостей, ставила домашние спектакли, работала в нём неустанно. Но главным в Ноане всегда оставалась не усадьба, не сад и не театральный зал — а земля вокруг, поля и перелески, которые были с ней всю жизнь, ещё прежде всяких слов.

Я думаю, дочь моя, что всякий человек нуждается в таком месте — и это не роскошь, а насущная потребность: место, куда ты возвращаешься не умом, а подошвами, где земля помнит тебя раньше, чем ты успеваешь её вспомнить. Если у тебя ещё нет такого места — ищи его. Если оно есть — береги. Держаться за него, когда мир тянет тебя во все стороны, — не малодушие, а мудрость. Иметь место, куда возвращаешься телом, — это значит иметь то самое основание, без которого человек теряет себя незаметно и находит пустоту там, где ожидал найти себя.

Мне сдаётся — и это я говорю как мужчина, не раз терявший такое место и понимавший его ценность только потом, — что этот урок о телесной родине есть один из тех, которые всего труднее передать словами. Его надо прожить. Можно прожить его

неправильно: расстаться с родной землёй легко и почти не заметить. Можно прожить правильно: уехать, вернуться, понять, что дерево, посаженное в детстве, выросло. Она выбрала второй путь — и Ноан дождался её.

• • •

Глава II.8

Монастырь и обращение

Есть вещи, которые невозможно рассказать, не боясь быть непонятой. Мистический опыт — один из них. Его не объясняют, не доказывают; его только сообщают, с той же беспомощной точностью, с какой говорят о сне, который был страшно важен, но теряет смысл, едва начинаешь подбирать к нему слова. И всё же она рассказывает о нём — потому что молчать о нём значило бы солгать, изобразить свою молодость такой, какой она не была.

Монастырь английских августинок принял её девочкой — бойкой, рассеянной, страстной ко всему сразу. Поначалу жизнь там была лишь приключением: дружбы, тайные разговоры в дортуаре, интересные женщины среди монахинь, которых она наблюдала с тем напряжённым вниманием, с каким только юный человек умеет читать чужие лица. Она не была особенно набожной, хотя её мать молилась с такой простотой и теплотой, что молитва казалась ребёнку совершенно естественным занятием — как разговор с кем-то, кто всегда дома и всегда готов выслушать.

« *Ma mère avait sa religion. J'aime Dieu d'un cœur sincère, disait-elle, je le crois trop bon pour nous punir dans l'autre vie.*
» «У моей матери была своя вера. «Я люблю Бога искренним сердцем, — говорила она, — я считаю Его слишком добрым, чтобы наказывать нас в другой жизни.» »

Эта материнская вера — простая, без богословия, без ритуального педантизма — осталась в ней семенем, из которого выросло нечто совсем иное, но всё равно подлинное. Обращение пришло внезапно, как всегда и приходит настоящее.

« *En passant devant la chapelle, j'y entrai seule ; le soir tombait, les cierges s'allumaient, et cela me frappa comme un spectacle nouveau. [...] Je ne sais ce qui se passa en moi, mais il me sembla que mon cœur se brisait, et je pleurai longtemps avec un sentiment que je n'avais jamais éprouvé.* » «Проходя мимо часовни, я вошла туда одна; вечерело, зажгались свечи, и это поразило меня как нечто совершенно новое. [...] Не знаю, что произошло во мне, но мне показалось, что сердце моё разрывается, и я долго плакала с чувством, какого ещё никогда не испытывала.»

Вот как это случается. Не через рассуждение, не через постепенное убеждение, не через прочитанную страницу — а через зажжённые свечи, через вечерний час, через какое-то стечение обстоятельств, которое само по себе ничего не значит, но вдруг пробивает в тебе что-то давно закрытое. Это и было настоящим обращением: не решение, принятое умом, а узнавание, произошедшее в теле — слёзы прежде мысли, ощущение чего-то огромного и близкого прежде его имени.

Она была готова принять постриг. Это не было мимолётной экзальтацией, не было юношеским увлечением, которое рассеивается от одного слова разумного человека. Это было жгучим желанием отдать всё — и сразу, и до конца, без остатка, без возможности отступить. В этом желании была своя правда, своя серьёзность, которую нельзя было просто отмахнуть. Между тем, она сама потом признавала: именно та готовность на всё, именно тот порыв к полному самоотречению — были знаком не только подлинности чувства, но и его незрелости. Настоящая любовь — к Богу ли, к человеку ли — не требует немедленного всеожжения. Она умеет ждать, умеет работать тихо, день за днём, без эффектных жертв.

«Je serai religieuse ; ce sera le désespoir de mes parens, le mien par conséquent. Il faut ce désespoir-là pour avoir le droit de dire à Dieu : «Je t'aime.» » «Я стану монахиней; это будет горем для моих родных, а следовательно, и для меня. Нужно именно это горе, чтобы иметь право сказать Богу: «Я люблю тебя.» »

Умный священник, её духовник, не стал ни льстить этому порыву, ни подавлять его грубо. Он сказал ей прямо: твоя набожность искренна — но в ней есть гордыня под видом смирения. Болезнь скрупулёзности, в которую ты впала, содержит в себе много самолюбия, которого ты сама в себе не видишь. Иди поиграй в саду. Прыгай через верёвку. Пусть аппетит и сон вернуться к тебе. Когда ты поправишься телесно, твой ум будет лучше судить о тех мнимых грехах, в которых ты себя обвиняешь.

Она пишет об этом с улыбкой и с уважением: в том совете — пойди поиграй — было больше подлинной мудрости, чем во всех

поощрительных словах, которые она слышала от менее опытных людей. Ибо настоящее духовное руководство заключается не в том, чтобы раздувать пламя, которое и без того жарко горит, а в том, чтобы беречь душу от её собственных преувеличений. Экзальтация выглядит как глубокое чувство — но она истощает, а не насыщает; она делает человека неспособным ни к ежедневному труду, ни к простому человеческому общению.

Между тем мистический опыт не рассеялся — только отлился в другую форму. Экзальтация прошла, как проходит горячка, — но то, что открылось в часовне в тот вечерний час, осталось с ней навсегда. Она больше никогда не стала монахиней. Но она всю жизнь оставалась человеком, который слышит этот голос — тихий, непостижимый, несводимый ни к какой доктрине, — и не перестаёт ему внимать. Между мистическим опытом и религиозной экзальтацией — пропасть: первый углубляет душу, второй истощает её; первый делает тебя тише и шире, второй — громче и теснее.

Она прожила всю жизнь верующей — но не церковной в узком смысле. Её вера искала Бога не в правилах и не в ритуалах, а в том внутреннем свете, который был открыт ей в монастырской часовне и который не угас потом ни в каком из последующих испытаний. Именно потому, что он пришёл не из книг и не из убеждений — а из самого неожиданного, из зажжённых на закате свечей, — она верила ему больше, чем чему-либо другому.

Не путай одно с другим, дочь моя. Если однажды в тебе что-то откроется — что-то тихое и не поддающееся словам, — не торопись ни объяснять это, ни раздувать до размеров подвига. Обращение не требует немедленных великих жертв. Оно требует

только одного: не закрыться. Остаться открытой к тому, что пришло. Позволить ему стать привычным присутствием, а не однократной вспышкой, которую стараются во что бы то ни стало повторить.

Она прожила с этим пониманием всю долгую жизнь. Когда она уходила из церкви — это не было отречением от того вечернего часа в часовне. Это было верностью ему: она искала живой свет, а не его копию в освящённом здании. И когда в зрелые годы она писала о Боге — «во мне, но не от меня» — она возвращалась к тому самому часовенному вечеру и к его тихой правде. Вера не становится меньше от того, что меняет форму; она становится меньше только от того, что её забывают.

• • •

Глава II.9

Тёмная яма юности

Должно мне сказать об этом прямо, без украшений и без умолчаний. Потому что если я промолчу — ты можешь подумать, что так не бывает с хорошими людьми, с умными людьми, с теми, кто имеет веру и любовь. Но это бывает. Это бывало с самыми живыми. Это бывало и с ней.

Была пора, когда жизнь в Ноане стала невыносимой клеткой — когда бабушкина опека давила, как низкий потолок, когда она не понимала, кто она и чего хочет, и это непонимание было не просто скукой или раздражением — оно было мраком. Тем особым

мраком, который знает только очень живой человек, заперший своё живое в тесноте без выхода. Всё лучшее в ней — острота ума, жажда жизни, потребность в свободе, в движении, в любви — оборачивалось против неё самой, когда не находило ни выхода, ни ответа, ни даже собеседника, который понял бы.

« Il y a des heures dans la vie où la souffrance est telle qu'on voudrait n'être plus. Ce n'est pas la mort qu'on cherche : c'est la cessation de ce qui fait mal, et on ne sait pas encore que la vie peut devenir autre chose que ce qu'elle est à ce moment-là. »
« Бывают в жизни часы, когда страдание таково, что хочется перестать существовать. Ищешь не смерти: ищешь прекращения того, что причиняет боль, — и ещё не знаешь, что жизнь может стать чем-то иным, нежели то, что она есть в эту минуту. »

Вот точная формула того, что происходит с юным человеком в такую минуту: он не хочет умереть в том смысле, в каком взрослый, принявший твёрдое решение, хочет умереть. Он хочет, чтобы перестало болеть. Но он ещё не знает — и это незнание и есть самая страшная часть — что жизнь может стать другой. Что то, что сейчас кажется неизменным, переменится. Что тюрьма, в которой он заперт, не вечная. Этого он ещё не знает телом — знает, может быть, в отвлечённом смысле, умом, но не так, чтобы это знание что-то с ним делало.

Был эпизод у реки. Она шла по берегу одна, в вечерних сумерках, и в ней происходило что-то, чему она не могла дать имени, — что-то тёмное и властное, влекущее к воде. Она сама пишет об этом сдержанно, без театра, без того, что называется «художественным описанием переживания»; она просто говорит,

что было, и как это кончилось:

« *Je m'arrêtai tout à coup, comme si quelque chose m'eût retenue par le bras.* » « *Я остановилась вдруг, как если бы что-то удержало меня за руку.* »

Остановилась. Это всё. Без объяснений, без морали, без победы. Просто — остановилась.

Жизнь её была спасена не героизмом, не отвагой, не каким-то особым духовным достоинством, которое она имела, а другие не имеют. Её спасла случайность — или то, что мы называем случайностью, не зная точнее слова: чей-то голос, чьё-то приближение, какой-то шум из темноты, который разорвал то, что могло бы замкнуться навсегда. Это важно — понимать именно это, а не сочинять из этой истории повесть о внутренней силе.

Я хочу сказать тебе об этом прямо, потому что об этом не принято говорить: мысль о том, чтобы не быть, — в юности — не признак слабости, не признак испорченности и не признак того, что с тобой что-то необратимо не так. Это признак того, что боли стало больше, чем у тебя на тот момент сил её держать. Это происходило с ней — с одним из самых живых, самых мыслящих, самых полных жизни людей, каких знал её век. Это не делает её ни несчастнее, ни виновнее; это делает её честнее по отношению к нам.

Впрочем, здесь важно и другое. То, что её спасла случайность — а не собственная стойкость — говорит нам кое-что о природе таких минут: в них человек не должен быть один. Не обязательно говорить; не обязательно объяснять; не обязательно, чтобы рядом было понимание. Нужно только присутствие — живое,

нечаянное, чужое. Случайный голос с берега. Чьи-то шаги на дороге. Именно это нечаянное присутствие другого человека и есть то, что держит нас в самую тёмную минуту, — не красивые слова и не умные доводы, а просто другой человек рядом.

Я думаю ещё вот о чём. Жизнь после тёмной ямы не сразу становится светлой — это было бы ложью. Она становится просто другой: чуть более трезвой, чуть более бережной к себе, чуть более способной различать, что в ней настоящее, а что — временная боль, которой в ту минуту казалось, что она вечная. Именно это различие — и есть то, что остаётся после.

Она не называет имён тех, кто был рядом в тот период, не описывает помощь, которую получила. Просто — остановилась. Просто — что-то удержало. Это означает, что в такие минуты помощь бывает безымянной и почти незаметной: кто-то просто оказался рядом, кто-то произнёс случайную фразу, кто-то перекрыл дорогу своим присутствием. Мы не всегда знаем, что мы спасаем. Именно поэтому быть рядом с людьми, которые могут быть в тёмном месте, — уже сам по себе поступок, даже если ты не знаешь, что совершаешь его.

Она после этого жила долго и страстно, и каждый год её жизни был плотно набит трудом, дружбой, любовью, спорами, писанием — всем тем, что составляет подлинную жизнь. Та тёмная ночь у реки стала частью её, не вычеркнутой, не забытой страницей — а страницей, которую она включила в повествование о себе. Потому что стыдиться её — значило бы отречься от части того пути, которым она шла. Она не стыдилась. Она рассказала. И в этом решении — рассказать — есть, мне кажется, самый главный её урок по этому предмету. Не то, что с ней случилось, а то, как она

потом к этому отнеслась: не как к позору, который нужно скрыть, и не как к подвигу, которым следует гордиться, — а как к части жизни, которая была такой, какой была. Честность без жертвенного пафоса — редкость. Она ей владела.

И поэтому, дочь моя, если ты когда-нибудь будешь стоять у такой воды — знай: это не конец и не приговор. Это юность в своём самом жестоком обличье — она не знает ещё, что боль проходит. Останови шаг. Позволь кому-нибудь оказаться рядом. Жизнь ответит сама, одним днём за другим.

• • •

Глава II.10

Чтение как формирование

Она читала жадно, беспорядочно, забывая еду и сон, — и это не было добродетелью, не было прилежанием и уж тем более не было следованием чьей-нибудь рекомендации. Это был голод. Тот первичный, непреодолимый голод по смыслу, который охватывает молодого человека, когда он вдруг понимает, что вопросы в нём есть, а ответов вокруг нет ни у кого — ни у взрослых, ни у церкви, ни у книг, которые ему дают читать в порядке воспитания. Книги, которые ему дают, — не те. И первое открытие читающего юного человека состоит в том, что он начинает сам искать свои.

Руссо пришёл к ней именно так — не как классик, не как имя в списке обязательного чтения, а как голос, который вдруг заговорил о вещах, которые она думала, не умея их назвать. Что-то

в ней откликнулось на его неуёмность, на его отказ принимать мир таким, каков он есть, на его готовность мыслить против общепринятого и болеть собственными мыслями. Шатобриан дал ей меланхолию, красивую и опасную, — но и в ней было что-то необходимое: доказательство, что то, что она чувствует, уже было почувствовано кем-то другим и найдено достойным слов. Лейбниц пришёл позже, и совсем иначе: не как поэт, а как мыслитель, осмеливающийся спрашивать о самых больших вопросах — откуда зло, если мир создан добрым Богом — с тем спокойным бесстрашием, которое она узнала и полюбила.

« Je lisais, je lisais sans cesse ; non pas pour m'instruire selon les règles, mais pour satisfaire une faim que je ne savais pas potter. » «Я читала, читала беспрестанно; не для того чтобы учиться по правилам, а чтобы утолить голод, которому не умела дать имени.»

Голод — вот единственно верное слово. Не программа, не план, не «хорошее образование». Голод — это когда тебе нужен конкретный ответ на конкретный вопрос, который жжёт тебя изнутри, и ты ищешь этот ответ не потому, что надо, а потому что нельзя иначе. Когда книга случайно открывается на нужной странице и останавливает тебя — это и есть тот голод, нашедший своё. И это случается только с теми, кто читает по нужде, а не по обязанности.

Между тем есть огромная разница между чтением-голодом и чтением-модой. Мода велит тебе читать то, что читают все: имена, которые произносят в обществе, книги, которые обсуждают на вечерах. Голод велит тебе читать то, что отвечает на твой вопрос — неважно, модно ли это, неважно, слышал ли кто-нибудь это имя.

Модное чтение оставляет тебя с репертуаром имён и несколькими яркими фразами; чтение-голод оставляет тебя с изменённым собой. Первое производит образованного собеседника; второе производит человека.

« Un livre lu au bon moment, c'est-à-dire quand on en avait besoin, vaut vingt livres lus par devoir ou par amour-propre. »

« Книга, прочитанная в нужный момент — то есть тогда, когда в ней была нужда, — стоит двадцати книг, прочитанных из долга или из тщеславия. »

Вот самый честный совет о чтении, какой только можно дать. Не читай по списку. Не читай, чтобы знать больше других. Не читай, чтобы иметь что сказать в обществе. Читай, когда тебе нужно, — и тогда даже одна страница одной правильно найденной книги останется в тебе навсегда, тогда как целые библиотеки прочитанного по обязанности выветриваются без следа.

Она прибавляла к этому нечто важное: книга бывает не только лекарством, но и ядом. Шатобриан дал ей красоту и меланхолию — и та меланхолия едва не стала для неё опасной. Сентиментальные романы её юности, которые она глотала с восторгом, заражали её ложным образом жизни и любви — не потому, что были написаны со злым умыслом, а потому что были написаны людьми, которые любовались своей болью, а не знали её по-настоящему. Книга умного человека показывает тебе жизнь; книга красиво пишущего лжеца показывает тебе жизнь такой, какой хочется, чтобы она была. Первая открывает глаза; вторая их закрывает.

Не всякая умная и серьёзная книга — твоя. Не всякая тебе нужна сейчас. Прислушивайся к тому, что тебя тянет, а не к тому, что принято. Голод не ошибается в выборе пищи — когда он настоящий. А когда притворяется — это уже не голод, а прихоть. Учись различать их в себе.

Тот, кто много и правильно читает в юности, обретает нечто, чего потом никакой опыт не может дать: он обретает собеседников, которые умнее его теперешнего, — людей, живших раньше, думавших глубже, страдавших точнее. Они не дадут тебе готовых ответов, но они дадут тебе лучшее — правильные вопросы, уже кем-то поставленные, уже кем-то не испугавшиеся, уже кем-то взятые в слова. Одна правильно прочитанная книга важнее двадцати модных.

Читай, дочь моя, но читай зряче. Следи за собственным голодом, а не за рекомендациями учителей. И когда книга отвечает на твой вопрос, отвечает по-настоящему, так, что останавливаешься на странице, чтобы перечитать, — то знай, это твоя книга.

Впрочем, она предупреждала и против другой крайности — против чтения как бегства от жизни. Она знала по себе: можно уйти в книги так глубоко, что перестанешь замечать живых людей рядом. Она ночами читала при свече — и ноанские луга оставались неисхожены, и разговоры с соседями не состоялись, и нечто из живой жизни прошло мимо незамеченным. Книга, которая заменяет тебе жизнь, — уже не книга, а укрытие. А укрытие, каким бы оно ни было уютным, рано или поздно становится тюрьмой.

Чтение должно возвращать тебя в мир, а не уводить от него. Хорошая книга — как хороший разговор со старшим другом: ты от него уходишь с тем, что можешь применить здесь и сейчас, с тем, что делает тебя немного зорче, немного честнее, немного смелее в собственной жизни. Если книга оставляет тебя с ощущением, что жить не стоит, что все люди вокруг мелки, а реальность недостойна твоего воображения — это плохая книга, чем бы она ни считалась в обществе.

И ещё одно, что она знала и что важно: нельзя читать чужую боль так, будто это твоя. Когда читаешь о страдании — можно сочувствовать, можно учиться, но нельзя присваивать. Те, кто присваивает чужую боль, начинают жить в чужой истории вместо своей. А своя история — единственная, которую тебе предстоит прожить.

Читай, дочь моя. Читай много и беспорядочно в молодости — всё равно порядок наводится потом, сам собою, когда одни имена остаются с тобой навсегда, а другие растворяются без следа. Читай с карандашом в руке: не для того чтобы делать умные записи, а чтобы остановиться там, где остановилось сердце. Страница с пометкой — это след твоего разговора с книгой; она дороже самой красивой цитаты, сохранённой без повода. И помни, что у каждой книги есть свой час: книга, прочитанная слишком рано, часто потеряна навсегда — не потому что плоха, а потому что ты была к ней ещё не готова. Если однажды книга тебя не берёт — отложи и вернись через несколько лет. Может быть, тогда она скажет тебе именно то, что нужно.

• • •

Глава II.11

Лень и эгоцентризм юности

Она даёт этому явлению очень точное имя, которое стоит запомнить — и в котором нет ни осуждения, ни насмешки, а есть только та горькая нежность, с какой зрелый человек смотрит на болезни собственной молодости:

« Une insurmontable paresse — c'est la maladie des esprits trop occupés et celle de la jeunesse par conséquent — m'a fait différer jusqu'à ce jour d'accomplir cette tâche. » «Непреодолимая лень — болезнь умов слишком занятых, а следовательно, и болезнь юности — заставила меня откладывать до сего дня исполнение этого дела.»

Болезнь умов слишком занятых. Не умов праздных, заметь, — а слишком занятых. И это не парадокс — это точное наблюдение над тем, как устроен ум, переполненный впечатлениями. Такой ум не отдыхает, он только меняет занятие; он никогда не остаётся в тишине достаточно долго, чтобы услышать нечто из самого себя. Это и есть та лень, о которой говорит зрелость: не отсутствие деятельности, а отсутствие паузы. Это различие огромно. Ленивый человек просто ничего не делает. Молодой человек в юношеской лени делает очень много — только не то, что нужно. Он занят учением, дружбами, влюблённостями, мечтами, ссорами, примирениями; он захвачен тысячью ярких и страстных вещей сразу; и именно эта занятость — всем внешним, всем приходящим извне — мешает ему сделать единственно важное: остановиться и заглянуть в себя.

Лень юности — это не безделье. Это лень в отношении собственной души. Это лень того разговора с собой, который один только может сказать тебе, кто ты есть, чего ты хочешь, к чему ты идёшь. Откладывание этого разговора — самая распространённая и самая дорогостоящая ошибка молодости; потому что чем дольше откладываешь, тем труднее начинать. Привычка прислушиваться к себе, как и всякая другая привычка, требует практики; и если её не завести в молодости, она с трудом приживается позже.

« *Personnalité de la jeunesse. — Détachement de l'âge mûr.* »
« *Эгоцентризм юности. — Отрешённость зрелости.* »

Так она озаглавила одну из своих глав. И в этом заголовке нет ни осуждения, ни насмешки. Эгоцентризм юности — естественен, почти необходим: именно потому, что молодой человек весь полон собою, он обретает силу, он нащупывает свой голос, он выясняет, кто он такой. Юность, которая не полна собою, — это уже что-то другое: не молодость, а преждевременная старость. Зрелость должна учиться отрешаться от себя — но только зрелость; юности это преждевременно и, как правило, бесплодно.

Тем не менее это «отрешение зрелости» — тоже не дар, не то, что приходит само и вдруг. Это плод работы, долгой и негромкой. Она зреет именно в те минуты, когда юный человек, вопреки своей занятости, всё-таки останавливается и прислушивается. Каждая такая минута — маленький вклад в ту самую зрелость, которая потом позволит смотреть на мир без жажды быть замеченным, без нужды в постоянном подтверждении.

Тем не менее внутри этого законного эгоцентризма прячется западня. Юный человек, поглощённый собою, нередко принимает

это поглощение за знание себя. Ему кажется: я так много думаю о себе, я так много чувствую — что уж себя-то я знаю. Это иллюзия. Думать о себе и знать себя — разные вещи. Первое — движение по поверхности: что я хочу сегодня, что я чувствую к этому человеку, что я думаю об этой идее. Второе — движение вглубь: что в моих желаниях устойчиво и что временно, что в моих чувствах идёт из меня, а что навеяно окружающими, что в моих убеждениях настоящее, а что взятое напрокат у тех, кем я восхищаюсь.

Именно это движение вглубь юность откладывает — за занятостью, за шумом, за тем постоянным внешним интересом, которым она окружена и который она сама же и производит. Именно эта лень и есть самая опасная её болезнь — потому что она похожа не на ленивость, а на жизнелюбие; не на трусость перед собой, а на открытость миру.

Она сама признавалась, что годами откладывала написание «Истории своей жизни» — не из-за недостатка времени и не из-за недостатка слов, а именно из-за этой лени разговора с собой. Страшно не начинать; страшно посмотреть на то, что было, и не отвести взгляд, и не приукрасить, и не обвинить другого, а остаться один на один с тем, что есть. Это требует мужества — другого мужества, чем то, которым гордятся. Не мужество перед внешней опасностью, а мужество перед самой собой.

Именно потому, что она не откладывала этот разговор бесконечно, — книга и получилась такой, какой получилась: честной, не приукрашенной, не мстительной. Человек, который с собой поговорил, не нуждается ни в самооправданиях, ни в обвинениях других. Ему достаточно просто рассказать то, что было. Эта простота — не простодушие; это плод долгого и

трудного труда по расчистке собственной души.

« *Il ne faut pas se laisser vivre comme on se laisse porter par un courant.* » « Не надобно позволять жизни нести себя, как несёт течение. »

Не позволять нести себя течением — значит время от времени грести поперёк. Не бежать от течения, не отрицать его; но проверять: туда ли ты плывёшь, куда сама хочешь? Это усилие — маленькое, незаметное для других, — и есть противоядие от той лени, о которой она предупреждает. Оно не требует подвига; оно требует только минуты тишины и честности.

Я добавлю от себя: отложить разговор с собой — значит предоставить этот разговор другим. Не в том смысле, что они за тебя решат; но в том, что без твоего собственного голоса внутри тебя всегда будет звучать чужой — мнение общества, мнение матери, мнение возлюбленного, мнение подруги. Все эти голоса могут быть умны и добры; но они не ты. И если в молодости ты привыкаешь слышать только их, в зрелости тебе будет очень трудно найти собственный.

Не откладывай разговор с собой, дочь моя. Не в том смысле, что тебе немедленно нужно принять все решения о жизни, — а в том, чтобы просто начать его слышать: тихий голос, который говорит тебе нечто, когда стихают все остальные. Заведи эту привычку сейчас, пока ещё не поздно. Леня, которая откладывает её, — самая дорогая из всех твоих лень. Замечу от себя: многие взрослые люди обнаруживают в себе эту лень только тогда, когда приходит пора писать мемуары, составлять завещания или подводить итоги жизни. До того казалось, что всё шло как шло. Она не хотела такой судьбы. Она хотела разобраться, что делало её

той, кем она стала. И разобралась. Не откладывая и ты.

• • •

Глава II.12

Первый идеал

Есть в жизни каждого человека миг, о котором она говорит со строгой нежностью — как говорят о вещи, которую жалеют, что не уберегли лучше, и которой не стыдятся, что утратили, а только тихо печалятся об этой утрате как о чём-то неизбежном и дорогим:

« *Oui, c'est l'amour idéal, et il n'a qu'un moment dans la vie de l'homme.* » « *Да, это идеальная любовь, и в жизни человека ей отведён лишь один миг.* »

Один миг. Не одна эпоха, не один человек даже — а именно миг, состояние, которое было однажды и которое точно так же, в той же чистоте, не повторится никогда. Это не трагедия; это просто устройство вещей. Молодость даёт нам этот миг как дар — хрупкий, ничем не заслуженный, ничем не застрахованный. Принять его, пережить его полностью, не расплескав, — уже редкая удача; сохранить его образ в памяти как мерило — ещё большая.

Что это такое? Она называет это «*chasteté de l'imagination*» — чистотой воображения.

« *Il est impossible qu'il ait conservé la chasteté de l'imagination et la sainte ignorance de son âge.* » «Невозможно, чтобы он сохранил чистоту воображения и святое неведение своего возраста.»

Она произносит это с горечью — о тех, в ком этот дар разрушили раньше времени. Чистота воображения — это не запрет, не ограждение от мира, не неведение о плотской его стороне. Это нечто другое: это способность первого раза. Смотреть на человека, на идею, на красоту так, как смотрят первый раз. Отдаваться чувству без защитного цинизма, без иронии, без того, что называется «опытом», но на деле есть лишь привычка не удивляться. В этой способности первого раза — целое богатство, которое растрачивается, как правило, ещё до того, как понимаешь, чем оно было.

Чистота воображения разрушается постепенно и почти незаметно. Её разрушают не грубые вещи — грубые вещи часто встречают в душе сопротивление. Её разрушает мелкое и обыденное: банальная пошлость в разговоре, которая принимается без возражения; насмешка над чем-то возвышенным, которой уступают, чтобы не выглядеть наивным; торопливость там, где нужна была медлительность; согласие, данное раньше, чем созрело подлинное желание. Всё это по капле уничтожает в человеке ту первоначальную способность, без которой никакое настоящее чувство не рождается.

Именно поэтому она так высоко ценила в людях — в мужчинах прежде всего — бережность. Не ту показную галантность, которая ничего не стоит и за которой нередко прячется ровно та самая торопливость. А ту подлинную внимательность к другому

человеку, которая умеет распознать в нём хрупкое и не касаться хрупкого без его согласия. Это редкое качество, но оно — самое важное из всех, что человек может нести в своих отношениях с другим человеком.

Между тем первый идеал не умирает сразу и не исчезает без следа. Он остаётся в памяти как образ — не реальный человек или реальная вещь, а образ того, каким может быть чувство в своей наибольшей чистоте. Именно к этому образу потом, в зрелости, прикладывается всякое настоящее переживание; именно он говорит нам, когда чувство подлинно, а когда — лишь похоже на подлинное. Человек, сохранивший этот внутренний образ, — даже если сам первый идеал давно прошёл и был заменён другим, реальным, взрослым чувством, — имеет то, чего не купить и не выучить: меру.

Вот почему она считала столь важным этот первый миг сохранить — не в смысле заморозить или запрятать, а в смысле не предать его сознательно, не ускорить его разрушение из торопливости или страха выглядеть не такой, как все. Восстановить его после того, как он разрушен, почти невозможно. Его можно оплакать, можно помнить о нём с нежной грустью — но вернуть в той же первоначальной чистоте уже нельзя. Это одна из немногих вещей в жизни, которые не повторяются.

« *Ce que la jeunesse a de plus précieux, c'est la faculté d'admirer sans comparer.* » «Самое драгоценное в юности — это способность восхищаться, не сравнивая.»

Восхищаться, не сравнивая — вот точная формула того, что она называет первым идеалом. Восхищение, которое ещё не знает опыта, не ведёт внутреннего счёта, не примеривает новое к

прежнему, — оно принимает полностью, без оговорок, без «зато». В этой открытости есть что-то, что нельзя воспроизвести усилием воли. Она или есть — или уходит. И именно потому, что она уходит сама, без спроса и без предупреждения, её присутствие и есть особый дар юности — тот, который взрослый человек вспоминает с той тихой, несентиментальной грустью, с которой только и можно вспоминать то, что было подлинно.

Я добавлю от себя, как мужчина: тот, кто стоит рядом с тобой в минуту первого идеала, несёт огромную ответственность — которую он, вполне вероятно, не осознаёт. Один неосторожный жест, одно слово, брошенное без внимания туда, где нужна была бережность, — и хрупкое это становится надломленным. Она не обвиняет — она предупреждает: будь осторожна с теми, кому ты доверяешь первое. И пусть тот, кому ты его доверяешь, будет человеком, достаточно серьёзным, чтобы понять, что ты ему даришь. Неосторожный человек способен разрушить то, восстановления чего не заметит — просто потому, что не знал о ценности разрушенного.

Береги первый идеал, дочь моя. Не потому, что мир снаружи плох, — он бывает и добр, и прекрасен. Но потому, что эта чистота воображения — только однажды. Миг, который не повторяется, заслуживает того, чтобы к нему относились как к единственному: входить в него медленно, не торопиться его прожить до дна, позволить ему быть тем, что он есть — не большим и не меньше.

И если этот миг уже прошёл, и ты смотришь на него из будущего с той тихой грустью, с которой смотрят на что-то невозвратное, — знай: это тоже не конец и не потеря. Зрелость не

лишает нас первого идеала; она учит нас ценить его в памяти так, как не умели ценить в настоящем. Это и есть та самая её «отрешённость зрелости» — не безразличие, а умение видеть прошлое без горечи и без жалобы, как свидетельство того, что умела чувствовать настоящее.

Цитаты приведены по изданию: George Sand. Histoire de ma vie. Paris: Victor Lecoq, 1854–1855 (электронный текст доступен на Project Gutenberg: <https://www.gutenberg.org/ebooks/39101>). Переводы — авторские, выполнены для настоящего издания в духе переводческой традиции А. В. Бекетовой.

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

ЧАСТЬ III

СЕРДЦЕ

что ты узнала о любви

• • •

Глава III.13

Любовь — это трое

Есть одна страница в «Истории моей жизни», к которой я возвращаюсь снова и снова, — и всякий раз нахожу в ней что-то, чего прежде не заметила. Не потому, что она написана тёмно или туманно. Напротив: слова самые простые, почти грубоватые в своей прямоте. Но именно эта простота странным образом останавливает — как останавливает непридуманная истина, с которой ты никогда не знаешь, что делать.

Вот эта страница. Санд говорит о рождении человека — не только телесном, но и духовном. И начинает так, будто хочет сначала опровергнуть расхожее остроумие:

« On dit en riant qu'il n'est pas si difficile de procréer : il ne faut que se mettre deux. — Eh bien ! non, il faut être trois : un homme, une femme, et Dieu en eux. Si la pensée de Dieu est étrangère à leur extase, ils feront bien un enfant, mais ils ne feront pas un homme. L'homme complet ne sortira jamais que de l'amour complet. Deux corps peuvent s'associer pour produire un corps, mais la pensée peut seule donner la vie à la pensée. »

«Говорят со смехом, что зачать недолго: нужно лишь быть вдвоём. — Так нет же: надобно быть втроём — мужчина, женщина и Бог в них. Если мысль о Боге чужда их упоению, они сделают ребёнка — но не сделают человека. Цельный человек никогда не родится иначе, как от полной любви. Два тела могут соединиться, чтобы произвести тело; но только мысль способна дать жизнь мысли.»

Прочти медленно. Не торопись к следующей странице.

Она не говорит здесь о церковном браке. Она не говорит о морали в том смысле, в каком её понимают проповедники. Она говорит о природе самой любви: о том, что любовь бывает полной и неполной, и что неполная, как бы она ни казалась огромной и неодолимой в ту минуту, когда тебя захватывает, — всё же меньше того, чем она могла бы быть. Меньше того, чем она должна быть.

Что такое третий — этот «Бог в них»? Не надо здесь буквальности. Зрелая Санд, говоря «Бог», имеет в виду нечто большее, чем оба вместе взятые: некую общую обращённость к чему-то, что выше их двоих, — к смыслу, к красоте, к тому, что она в другом месте называет «*pensée*» — мысль, дух, внутренняя жизнь. Два тела могут сойтись. Два сердца могут потянуться друг к другу. Но если между двумя людьми нет этой третьей нити —

общей жизни духа, общего устремления вверх, взаимного уважения к тому, что в каждом из них больше, чем желание и нежность, — тогда, по её убеждению, что-то существенное отсутствует. Дети будут. Страсть будет. Привязанность, может, тоже. Но «l'homme complet» — цельный человек — из такого союза не выйдет.

Я останавливаюсь на этом слове: complet. Полный. Цельный. Неразделённый. Такой, в котором ничего не вытеснено, не зачеркнуто, не принесено в жертву другому. Именно это, думает она, и есть задача любви — не слиться, не раствориться, не заглушить себя другим, а, напротив, в присутствии другого стать собою полнее. Это парадокс, который нужно прожить, чтобы понять: настоящая близость не стирает личности, она их укрупняет.

Это не романтическая мечта. Это требование. И требование, прямо скажем, суровое.

Потому что оно означает вот что: если ты ищешь в другом человеке только тело — это меньше, чем любовь. Если ты ищешь только сердце, только нежность и понимание — это тоже меньше. Если даже тело и сердце соединились, но нет этой третьей нити — духовной близости, общей серьёзности, взаимного признания чего-то большего, чем вы оба, — то и это ещё не то. Полная любовь — это «il faut être trois». Это непременно трое.

И вот тут зрелая Санд произносит, пожалуй, самое трудное своё слово:

« Le genre humain se perpétue quand même, et s'il n'y était jamais convié que par l'amour vrai, il faudrait peut-être, pour arrêter la dépopulation, revenir aux étranges idées du maréchal de Saxe sur le mariage. Mais il n'en est pas moins vrai que le vœu de la Providence, je dirai même la loi divine, est transgressée chaque fois qu'un homme et une femme unissent leurs lèvres sans unir leurs cœurs et leurs intelligences. »

«Род человеческий продолжается в любом случае; и если бы он полагался только на истинную любовь, пришлось бы, пожалуй, чтобы не обезлюдеть, вернуться к странным идеям маршала де Сакса о браке. Но от этого нисколько не менее верно, что воля Провидения, я скажу даже — закон Божий, нарушается всякий раз, когда мужчина и женщина соединяют уста, не соединив сердец и умов.»

Это жёстко. Это, может быть, слишком жёстко для нынешнего уха — привыкшего к тому, что о таких вещах говорят осторожнее, иносказательнее, с большим числом оговорок. Но она — не осторожна. Она — точна. За этой формулой стоят не книжные убеждения, а прожитые годы; и в зрелые годы она пишет не для того, чтобы произвести впечатление, — а потому что иначе сказать не умеет.

Что значит «не соединив сердец и умов»? Ведь говорят — и правда говорят — что бывают браки, где нет особенной духовной близости, но есть уважение, тепло, дружба — и этого достаточно для спокойной жизни. Санд не опровергает этого. Она не говорит, что без «третьего» всё непременно кончится катастрофой. Она говорит другое: что-то в этом случае изнутри не сбывается. Что-то остаётся незажжённым. Жизнь идёт, дети растут, годы уходят — а

той глубины, которая была возможна, нет и не будет. Это не трагедия. Но это — неполнота, с которой человек проживает жизнь и которую не всегда умеет назвать.

Добавлю от себя, как мужчина, который читает её: я думаю, что в этой формуле «троих» есть ещё одна вещь, которую она не называет прямо, но которую можно почувствовать за строкой. Полная любовь требует, чтобы оба были целыми — до встречи. Нельзя стать третьим, не имея первого. Человек, который приходит к другому пустым, в надежде, что другой его заполнит, — никогда не построит троих. Потому что любовь не заполняет пустоту; она увеличивает то, что уже есть. Если есть душа — она станет богаче. Если пусто — останется пусто, только с другим человеком рядом.

Это, мне кажется, и есть первый урок «Истории моей жизни» в её любовной части: прежде чем искать того, кто составит с тобой двоих, — стань тем, кого можно любить как равного. Не красивее, не умнее, не успешнее. Но цельнее. Глубже. Серьёзнее по отношению к собственной душе. Потому что только из двух целых может возникнуть тот третий — который не человек, но который больше двух людей вместе.

Санд нигде не говорит, что «трое» рождается быстро или с первого раза. Она слишком честна, чтобы обещать это. В её собственной жизни было несколько попыток — и каждый раз что-то оказывалось неполным: то тело говорило «да», а душа молчала; то душа чувствовала родство, но сердце не отзывалось. Полнота — это редкое совпадение. И именно поэтому, когда оно случается, его не следует торопить — и не следует разрушать небрежностью, ленью или неблагодарностью. Полная любовь

требует внимания, как любое живое существо. Она не самоподдерживается. За ней нужно следить, её нужно оберегать, в неё нужно вкладывать каждый день.

Замечу одну вещь о самом слове «трое». В её системе это не мистика и не богословие в строгом смысле. Это трезвое наблюдение о природе союза. Двое, которые смотрят только друг на друга, — рано или поздно начинают тяготиться собственным отражением. Двое, которые смотрят вместе на что-то третье — на дело, на красоту, на смысл, больший их обоих, — находят в этом общем взгляде то самое пространство, где любовь не задыхается, а дышит. Третье — это не соперник и не судья. Это воздух, без которого двое не выживут как двое.

Дочь моя, запомни эту формулу — «il faut être trois» — не как правило и не как запрет, а как вопрос, который ты будешь задавать себе в нужную минуту. Не «люблю ли я его?» — это ты почувствуешь и без вопроса. А: «трое ли нас?» Есть ли в том, что между нами, что-то большее, чем мы двое? Тянемся ли мы вместе куда-то вверх, или только друг к другу? Если вверх — это ближе всего к тому, что она называла полной любовью. И это — редкость. Береги это, когда найдёшь.

Санд нигде не употребляет слово «счастье» в смысле безоблачного состояния души. Счастье для неё — это не отсутствие боли или трудности. Счастье — это знание, что то, что ты делаешь, важно. Что человек рядом с тобой дорожит тебе по-настоящему. Что вы вместе строите не инсценировку, а жизнь — пусть даже обычную, домашнюю, со всеми её мелочами и несетями. Именно это она и называла полной любовью: той, в которой двое становятся троими — вместе с чем-то

перерастающим, большим, чем каждый из них взятый в отдельности.

• • •

Глава III.14

Обман чувств

Есть два вида людей, которые слушают Санд с наибольшим недоверием. Первые — те, кто никогда не знал страсти и потому не понимает, о чём она говорит. Вторые — те, кто знал её слишком хорошо и потому не хочет понимать. Обе эти позиции понятны. И обе, говорит зрелая Санд, ошибочны.

Страсть — это не дурное. Страсть — это не грех сама по себе. Это огонь, который при правильных обстоятельствах освещает и согревает, а при неправильных — сжигает дотла. Вопрос не в том, быть ли страстной или нет. Вопрос — в том, слышать ли правду страсти или поддаться её лжи.

А страсть лжёт. Вот что Санд знала по собственному опыту, дорогой ценой купленному:

« Je regarde comme un péché mortel non seulement le mensonge des sens dans l'amour, mais encore l'illusion que les sens chercheraient à se faire dans les amours incomplets. »

«Я почитаю смертным грехом не только обман чувств в любви, но и тот самообман, который чувства пытаются себе создать в неполных любовях.»

Обман чувств — «mensonge des sens». Это не то, что один человек говорит другому неправду. Это то, что тело говорит неправду уму. Это когда сердце кричит «вот оно!» — а если прислушаться к голосу тихому, внутреннему, тому самому, что глубже желания, — он говорит совсем другое. Страсть заглушает этот тихий голос. И именно в этом её главная опасность.

«Неполные любви» — «les amours incomplets» — это не маленькие и незначительные. Они могут быть огромными, сотрясающими, болезненными. Неполными они называются не по размеру, а по строению: в них есть что-то одно — тело без души, или нежность без уважения, или восхищение без близости, — но нет цельности. И самый страшный самообман, о котором она говорит, — это когда человек берёт такую неполную любовь и начинает уверять себя, что она полная. Притворяться перед собой, что хватает. Что так и надо. Что большего не бывает.

Санд знала, откуда берётся этот самообман. Не от дурного характера. Не от слабости воли. А от того, что так хочется. Так хочется, чтобы это было оно. Чтобы наконец. Чтобы не начинать снова — поиск, ожидание, разочарование, снова поиск. Человек утомляется быть одиноким. Утомляется надеяться. И в какой-то момент говорит себе: вот это — и есть любовь. Пусть не та, о которой мечталось, но — что-то ведь есть. И это «что-то ведь есть» — и есть тот самый самообман, о котором она с такой строгостью пишет.

Строгость её не жестокость. Это опыт.

Здесь мне надо сказать очень простую вещь: то, от чего предупреждает Санд, — не есть удержанность от презрения к чувствам, а отказ от самообмана. Человек способен на огромное

нежелание быть одиноким. И это нежелание не порок и не слабость — это естественная жажда живого существа. Но оно становится ловушкой ровно в тот момент, когда человек начинает путать его с сердечным голодом. Боюсь остаться одной — это не разумный мотив для вхождения в любовь. Фактически это рецепт несчастья: войдешь — и всё равно будешь одна, но уже в плену у другого человека.

« *Il faut aimer avec tout son être, ou vivre, quoi qu'il arrive, dans une complète chasteté.* »

«Надобно любить всем существом своим — или же, что бы ни случилось, жить в полном целомудрии.»

Это, может быть, самое строгое её слово во всей книге. Зрелая Санд — женщина, которая прожила через всё, через годы страстей и разочарований, через несколько знаменитых и болезненных связей, через репутацию, которая опережала её повсюду, — пишет: или всё, или ничего. Не как человек, который никогда ничего не испытал. Как человек, который испытал слишком много и понял, где была ошибка.

Что значит «всем существом»? Она объясняет это в соседних страницах: не только телом — хотя и им тоже. Не только сердцем — хотя и им. Но и умом, и душой, и тем, что она называет «*la pensée*» — духом. Когда все эти уровни согласны между собой — это полная любовь. Когда одно говорит «да», а другое молчит, а третье кричит «нет» — это тот самый «*mensonge des sens*», обман чувств, смертный грех не перед Богом в небесах, а перед самим собой.

«Что бы ни случилось» — это самые трудные слова в этой формуле. Они означают: даже если одиноко. Даже если над тобой

смеются. Даже если кажется, что поезд уходит. Даже если все вокруг давно замужем или пытаются быть. Всё равно — лучше жить в целомудрии, чем тратить себя на любовь, которой не веришь до конца. Потому что каждая «неполная любовь», которой ты притворяешься полной, берёт что-то от тебя — что-то, что потом уже не восстанавливается.

Здесь, мне кажется, ей важно сказать ещё одну вещь, которую она говорит между строк: страсть особенно лжива тогда, когда человек одинок или испуган своим одиночеством. Когда усталость от поиска так велика, что говоришь себе: пусть будет это, хоть что-то, хоть на время. И вот это «хоть что-то» — и есть та самая неполная любовь, которой притворяются полной.

« Les hommes n'en feront rien, je le sais ; mais les femmes, qui sont aidées par la pudeur et par l'opinion, peuvent fort bien, quelle que soit leur situation dans la vie, accepter cette doctrine quand elles sentent qu'elles valent la peine de l'observer. »

«Мужчины этого не исполнят, я знаю; но женщины, которым помогают стыдливость и общественное мнение, вполне могут — какова бы ни была их участь — принять эту науку, если только чувствуют, что стоят труда её соблюсти.»

«Если чувствуют, что стоят труда её соблюсти» — вот ключ. Это не запрет снаружи. Это вопрос внутреннего достоинства. Женщина, которая уважает себя — не потому что гордится, а потому что знает себе меру, — такая женщина в силах выдержать ожидание. Выдержать одиночество. Выдержать насмешку тех, кто говорит ей: что ты всё ждёшь, бери что есть. Она не ждёт мужчину, она ждёт полноты.

Я добавлю от себя: «mensonge des sens» работает в обе стороны. Мужчина точно так же врёт себе, принимая страсть за любовь, влечение за привязанность, привычку за верность. Может быть, мужчина даже чаще поддаётся этому обману — потому что его не учат тому тихому прислушиванию к себе, которое женщина нередко сохраняет, если не заглушила его нетерпением. Санд обращается к женщинам — но урок одинаков для обоих полов.

Ещё одна вещь, которую надо сказать о страсти: она почти всегда приходит раньше, чем мы готовы. Страсть вспыхивает, когда человек ещё не успел понять, что с ним происходит. Юность особенно уязвима здесь: ещё не умея различать чувство от мысли, тело от души, она берёт в любовь всё, что похоже на любовь. И только позже, когда страсть утихает, обнаруживается: да это было оно. Или: нет, это было не оно — только желание. Санд знает оба варианта. Она не судит ни тот, ни другой. Она просит об одном: чтобы была честность. Чтобы не называли одно другим — ни перед собой, ни перед другим человеком.

Тебе, дочь моя, скажу одно: когда тебя охватывает что-то сильное и непреодолимое, не спеши называть это именем. Побудь с этим. Спроси себя в тишине: моя ли это душа согласна — или только тело? Моё ли сердце говорит «да» — или только страх одиночества? Это не значит подавлять чувство. Это значит не позволять ему лгать тебе о том, что оно такое на самом деле.

Санд не призывала к холодности. Она призывала к честности. Это разные вещи. Холодный человек не чувствует. Честный — чувствует, но не обманывает себя насчёт того, что именно чувствует. Именно эта разница между живым чувством и его честным именованием — и есть то, что она называла зрелостью в

любви. Не меньше страсти. Но — больше правды о ней.

• • •

Глава III.15

Письма и близость на расстоянии

Жорж Санд всю жизнь писала письма. Сотни, тысячи писем — подругам, возлюбленным, детям, политикам, художникам, простым людям, которые писали ей первыми. Её переписка — один из самых огромных архивов частных писем во всей французской литературе. И она знала, что делает, когда садилась писать письмо: она знала, что это опасно.

Опасно — вот правильное слово. Не в том смысле, что письма компрометируют (хотя и в этом смысле тоже, она это испытала). А в том смысле, что в письме можно полюбить человека, которого никогда не полюбил бы в жизни. Или полюбить больше, чем он есть. Или создать из него образ, который потом, встретив живого человека, окажется несравнимо прекраснее оригинала.

Санд пишет о дружбе и о любви, которая рождается в переписке:

« Il est bien rare qu'entre un homme et une femme, quelque pensée plus vive que ne le comporte de lien fraternel ne vienne jeter quelque trouble, et souvent l'amitié fidèle d'un homme mûr n'est pour nous que la générosité d'une passion vaincue dans le passé. »

«Весьма редко бывает, чтобы между мужчиной и женщиной какая-нибудь мысль более живая, чем допускает братская связь, не вносила известного смятения; и нередко верная дружба зрелого мужчины — это для нас лишь великодушные страсти, некогда им побеждённой.»

Это суровое наблюдение, и тем честнее оно от самой Санд, которая сама пережила несколько таких дружб — с людьми, которые её любили и умели превращать эту любовь в преданность, не ломая ни её, ни себя. Но она предупреждает: это редкость. Смятение — почти правило. И в письмах смятение рождается особенно легко.

Почему? Потому что письмо — это лучшая версия человека. В письме он думает прежде, чем говорит. В письме он выбирает слова. В письме нет ни дурного настроения, ни усталости, ни раздражённого жеста. В письме он такой, каким хотел бы быть. А воображение читателя дорисовывает остальное — и дорисовывает, как правило, в самых лестных тонах. Так рождается образ человека, которого, может быть, не существует — или который существует только в письмах, только в лучших своих минутах.

Влюблённость в письмо опаснее, чем влюблённость в живого человека, — именно потому, что ей нечего противостоять. Живой человек разочаровывает: опаздывает, говорит не то, забывает.

Письмо — никогда. Письмо всегда то самое, что ты вложила в него при первом чтении. Письмо можно перечитать в три часа ночи — и оно скажет то же самое, что говорило утром. Письмо не стареет, не устаёт, не меняется в настроении.

« *L'amour idéal résumerait tous les plus divins sentimens que nous pouvons concevoir, et pourtant il n'ôterait rien à l'amitié idéale.* »

«Идеальная любовь вобрала бы в себя все самые возвышенные чувства, какие мы только можем мыслить, — и при этом ничего не отняла бы у идеальной дружбы.»

Она говорит об идеале — и идеал этот строится на духовной близости, на том, что в другом человеке тебе дорого его «я», его внутренняя жизнь. Письмо — это именно «я» без оболочки. И поэтому эпистолярная близость может быть глубже и чище, чем иные годы совместной жизни. Санд не отрицает этого. Она сама строила такие дружбы на переписке — с людьми, которых видела редко, но с которыми чувствовала близость, невозможную в ежедневном быту.

Но она знает и другое. Когда воображение слишком долго работает одно, без поправки реальностью, — оно начинает создавать образ, не имеющий ничего общего с живым человеком. И встреча тогда не радует — она разрушает. Потому что живой человек не умеет быть письмом. Он дышит, устаёт, противоречит себе. И тот, кто влюбился в переписку, встречая оригинал, чувствует странную обиду: будто его обманули. Хотя обманул он себя сам — воображением.

Есть ещё одна тонкость, которую Санд понимала лучше, чем многие: чернила дают храбрость. То, что невозможно сказать в

глаза, — пишется легко. И в этом есть своё достоинство: иногда важные вещи нуждаются в дистанции, чтобы быть сказанными. Но в этом же есть и опасность: можно написать «я люблю тебя» тогда, когда при встрече ты бы промолчала, — и это молчание было бы честнее. Слово, написанное в ночи, под властью одиночества и воображения, — это не всегда то же самое, что слово, сказанное при свете дня, в присутствии живого человека. Чернила опаснее тела — потому что они не знают усталости.

Добавлю от себя: мужчина в письмах часто красивее, чем в жизни, — потому что в жизни ему мешает его собственная неловкость, скованность, страх показаться слабым. В письме он разрешает себе то, чего не разрешит вслух. И женщина, получившая такое письмо, видит в нём лучшего мужчину — того, кем он мог бы стать, если бы не боялся. Иногда это помогает ему стать лучше. Иногда — создаёт иллюзию, которая потом причиняет боль обоим.

И ещё одно. Санд писала письма каждый день. В периоды работы — до зари. В периоды болезни — и в них. В периоды, когда друг был рядом, и когда его уже не было. Её письма — это не только слова о чувствах. В них — рабочие новости, заботы о детях, споры, мирь, просьбы, пожелания здоровья. Письмо для неё — это была форма присутствия. И в то же время — форма размышления, потому что письмо не отвечает в реальном времени, оно даёт возможность додумать мысль до конца. Человек в разговоре иногда пропускает важное — спешит, отвлекается, перебивает тему. В письме — нельзя. Раз начав писать, нужно довести мысль до конца. У этой вещи есть своё действие на душу человека, пишущего их. И знание этого действия есть часть

эпистолярной мудрости, которой Санд владела в полной мере.

Дочь моя, письма — это дар. Береги их, пиши их, храни те, что получаешь. Но помни: человек в письме и человек за столом — не всегда одно и то же. Когда ты чувствуешь, что влюбляешься в чьи-то слова, — доверяй им не сразу. Спроси себя: знаю ли я его — или только его письма? Близость на расстоянии прекрасна и ценна; но она не заменяет близости рядом — с его настроениями, его усталостью, его молчанием. Полная любовь рождается из обоих.

И всё же: не отказывайся от писем из осторожности. Они умеют сохранять то, что разговор теряет: точность формулировки, глубину признания, нежность, которую живой голос иногда стыдится произнести вслух. Санд, которая переписывалась с тысячами людей, знала: лучшее в человеке часто живёт именно в письмах. Принимай это лучшее — только не забывай сверять его с живым.

• • •

Глава III.16

Жалость — не любовь

Есть одна ловушка, в которую попадают добрые люди чаще, чем жестокие. Жестокие не задерживаются рядом с чужой болью — им это неинтересно. Добрые — остаются. И, оставшись, начинают путать заботу с привязанностью, сострадание с любовью, верность больному — с той верностью, которую даёт сердце избранному.

Санд знала эту ловушку изнутри. Знала, что значит ухаживать за тем, кого любишь. Знала, как болезнь делает человека беспомощным и тем самым — неотразимым для жалостливого сердца. Знала, как трудно сказать себе честно: это уже не любовь, это забота. И знала, что путать их — тяжело для обоих.

Она пишет о том, как легко оказаться рядом с человеком страдающим — и не из любви, а из неспособности уйти:

« *Il ne faut donc point chercher l'absence de douleur, de fatigue et d'effroi, à quelque âge que ce soit de la vie, car ce serait l'insensibilité, l'impuissance, la mort anticipée.* »

« Не надобно искать отсутствия боли, усталости и страха ни в каком возрасте жизни, ибо то была бы бесчувственность, бессилие и предвосхищённая смерть. »

Это она пишет о себе — о своём собственном принятии страдания. Но та же логика работает и в другую сторону: нельзя строить отношения на том, чтобы избавить другого от боли. Нельзя оставаться с человеком из страха перед тем, что с ним будет, если ты уйдёшь. Это не любовь — это тюрьма, в которой сидят оба.

Болезнь обладает особенной властью над добрым сердцем. Она вызывает. Она требует. Она делает человека полностью зависимым — и эта зависимость, если она длится годами, начинает подменять собой всё остальное в отношениях. Человек, который раньше был равным, становится тем, за кем ухаживают. Человек, который за ним ухаживает, начинает чувствовать себя не возлюбленным, а сиделкой. И когда это происходит — любовь, если она была, уходит не потому, что её не было. Она уходит потому, что равенство ушло.

Между тем, замечает Санд, именно людей с болью мы чаще всего принимаем за тех, кому нам суждено принадлежать. Потому что с ними мы нужны. Потому что рядом с ними мы — сильные. Потому что их потребность в нас так очевидна, так осязаема, что легко спутать её с той особой близостью, которую даёт любовь. Но нужность — это не то же, что любовь. Быть нужным приятно. Быть любимым — другое.

« *Pour ceux qui sont nés compatissants, il y aura toujours à aimer sur la terre, par conséquent à plaindre, à servir, à souffrir.* »

«Для тех, кто родился сострадательным, на земле всегда будет кого любить — а значит, и кого жалеть, и кому служить, и от кого страдать.»

Это не ирония. Это трезвое признание: если ты создана с даром сострадания, — жди, что жизнь будет ставить тебя рядом с теми, кому плохо. И жди, что ты будешь оставаться — из сострадания. Это прекрасное качество. Но оно требует одного: честности перед собой. Ты остаёшься потому, что любишь, — или потому, что жалеешь? Потому что не можешь без него — или потому что не можешь бросить его в такую минуту?

Разница огромна. И не потому, что жалость хуже любви. А потому, что жалость не должна называться любовью — ни перед другим, ни перед собой. Когда называешь жалость любовью — ты лжёшь. И тот, кому ты лжёшь, это чувствует, пусть и не говорит вслух. Больные люди особенно остро чувствуют, когда за ними ухаживают из долга, а не из желания быть рядом. Это унижает их больше, чем одиночество.

Здесь нет лёгкого ответа на вопрос, что делать, когда понимаешь, что жалеешь — а не любишь. Нет формулы. Есть только требование честности: сначала — перед собой. Признать. Не прятаться за слово «люблю», когда внутри ты знаешь, что это уже не так. А потом — выбор, трудный, иногда долгий. Санд не говорит, что надо немедленно уйти. Она говорит: не притворяйся. Большому от притворства не лучше. Тебе — тем более.

Санд знает также, что жалость иногда называют любовью не из злого умысла, а потому что так проще. Потому что жалость реальна, она теплая и осязаемая. А любовь требует дополнительных усилий: видеть в человеке не только его слабость, но и его силу; не только скорбное настоящее, но и то, что скрыто за ним. Жалость видит страдание, любовь видит человека. Между тем и другим есть разница — деликатная, но реальная. И она требует очень тихого, очень серьёзного разговора с собой — того типа, что удаётся редко и только в очень честные минуты.

Добавлю от себя: мужчины в этой ловушке оказываются не реже женщин, просто иначе. Мужчина нередко путает «она нуждается во мне» с «я её люблю» — и строит отношения на этой путанице годами. Потом оба обнаруживают, что живут не в любви, а в зависимости — и ни тому, ни другому это не приносит того, ради чего они, собственно, и соединились.

Дочь моя, если ты окажешься рядом с человеком, которому плохо, — будь рядом. Это человеческое, это правильное. Но не называй это любовью, если это не она. Жалость — это дар; береги его. Не трать его на то, чтобы уговорить себя: это и есть то, что я искала. Это не то же самое. И ты это знаешь.

Санд добавляет к этому ещё одно наблюдение: жалость может сосуществовать рядом с любовью — до тех пор, пока она не подменяет её. Она знала людей, в которых жалость и привязанность были настолько сильны, что вмещали в себя и уважение, и нежность, и терпение. И внешнему взгляду это выглядело как любовь. Только внутри самого человека, если он был честен, было знание, что это не то. И вот эта внутренняя честность — свидетель зрелости. Она не приходит сама по себе. Её нужно воспитывать — именно через такой трудный разговор с самой собой.

• • •

Глава III.17

Когда любовь становится материнской

Есть связи, которые начинаются как равные — и постепенно, медленно, почти незаметно, перестают быть такими. Не потому, что кто-то виноват. Не потому, что любовь прошла. А потому, что один из двоих стал слабее другого — болезнью, или временем, или судьбой, — и та, что была рядом, начала заботиться о нём так, как мать заботится о ребёнке. И сама того не заметила — как это случилось.

Зрелая Санд знала это изнутри. Около девяти лет она прожила рядом с больным гениальным поляком — великим композитором, чьё имя знала вся Европа, чья музыка звучала в самых торжественных залах, а сам он с каждым годом всё меньше

выходил из дома и всё больше нуждался в уходе. Она любила его — это несомненно. Но год за годом её любовь менялась: становилась тяжелее, тревожнее, меньше похожей на то, что было вначале, и больше — на бессменное дежурство у постели.

Она не жалуется на него в своей книге. Она вообще почти не называет его — ни здесь, ни где-либо ещё, когда говорит об уроках, а не о биографии. Но в том, что она пишет о любви и заботе, о равенстве и неравенстве, о том, когда надо оставаться и когда надо уходить, — чувствуется этот опыт, пережитый до конца.

« *Il faut avoir connu les passions de la femme et les tendresses de la mère pour entrer dans la tolérance complète.* »

«Надобно изведать страсти женщины и нежности матери, чтобы войти в полную терпимость.»

Страсть и материнство — два великих опыта, которые вместе дают зрелость. Страсть учит любить другого как равного. Материнство учит любить, не требуя ничего взамен. Полная любовь соединяет оба — и это редкость. Но когда в паре материнская нежность вытесняет страсть окончательно, — это уже другая связь. Это уже не равенство двух взрослых. Это — один заботится, другой принимает заботу. И то, что было между двумя людьми, стянувшимися друг к другу свободно, постепенно превращается в нечто другое: в зависимость.

Санд знала, что это случается. И знала, что в этом нет вины больного. Болезнь не выбирают. Слабость не выбирают. Но она знала и другое: человек, за которым ухаживают как за ребёнком, не может быть возлюбленным в полном смысле слова. Он может быть дорогим. Близким. Незаменимым. Но что-то от равенства уходит — и с ним уходит что-то от любви. Не вся любовь. Но та её

часть, что рождается из встречи двух свободных, а не из связи опекуна и подопечного.

Она пишет о матери — и о том, чему мать учит мужчину:

« S'il est capable d'aimer ardemment et noblement cette nouvelle idole, c'est qu'il aura fait avec sa mère le saint apprentissage de l'amour vrai. »

«Если он способен полюбить пылко и благородно, то лишь потому, что прошёл с матерью своею святое ученичество истинной любви.»

Это она говорит о мужчине и его первом уроке любви — материнском. Но в нашем контексте важно вот что: когда женщина берёт на себя материнскую роль в паре — она берёт её всерьёз. Она не может любить наполовину, раз уж взялась. И это — не слабость, это сила. Но эта же сила медленно съедает равенство, без которого любовь не может оставаться собой.

Мудрость — в том, чтобы это увидеть. Не осудить. Не обвинить ни себя, ни другого. Но — увидеть. И решить честно: это ещё любовь, или уже что-то другое, такое же ценное, но иначе называемое? Бывает, что это «другое» заслуживает своей верности. Бывает, что дать ему имя — уже честный шаг. А бывает, что честный шаг — это и есть понять, что связь перестала быть любовью и стала чем-то другим, что нельзя поддерживать дальше без ущерба для обоих.

Есть достоинство в том, чтобы остаться — зная, что это теперь другое. И есть достоинство в том, чтобы отпустить — когда равенство ушло безвозвратно. Санд выбирала оба пути в разные годы своей жизни. И она не приговаривает ни один из них. Она

только требует одного: чтобы выбор был сделан честно — из себя, а не из страха или привычки.

Добавлю от себя: то, что пережила Санд рядом с великим больным поляком, потребовало от неё больше мужества, чем любой из её прежних разрывов. Не потому, что он был знаменит. А потому, что она любила его — и при этом понимала, что то, что осталось от их связи, не было больше той полной любовью, которую она считала единственно настоящей. Это разрыв особого рода: когда уходишь не от дурного человека, а от большого. И от прежнего себя — той, которая когда-то любила иначе. То, что она пережила это, видно в том, что в зрелые годы она пишет о материнстве с особой теплотой — как о даре, который даёт знание о чужой слабости без горечи и без усталости от него.

Здесь важно сказать ещё одно: материнская любовь в паре не приходит сразу. Она накапливается постепенно — через ночи у постели, через выполненные одной стороной бесчисленные мелкие обязанности, через тот молчаливый счёт, который никто не ведёт вслух, но который сердце знает. Усталость от такой роли не означает, что любви не было — или что ты плохой человек. Она означает только, что человек не бесконечен. Что у сострадания есть предел — и признать этот предел честно, не замалчивая его в угоду образу «хорошей женщины», — это тоже вид мужества.

Дочь моя, если ты когда-нибудь обнаружишь, что из возлюбленной превратилась в сиделку, — не вини себя и не вини его. Жизнь это делает. Болезнь это делает. Но позволь себе честно смотреть на то, что происходит. Любовь, ставшая материнской заботой, — это не меньше. Это другое. И иногда эта разница требует разных решений.

• • •

Глава III.18

Об идиллии, выдуманной заранее

Бывает так, что двое решают: надо бежать. Прочь от привычного города, прочь от людей, прочь от сплетен и назойливых взглядов, от обязательств и знакомых лиц. Нам нужно побыть вдвоём — по-настоящему, без помех, на чистом воздухе и с чистой душой. И они уезжают. И обнаруживают, что взяли с собой в чемодане всё то, от чего бежали: свои страхи, свои разочарования, свою неспособность к тишине. И что вдвоём в чужом месте — одиноко вдвойне.

Санд знала об этом не из книг. Она уезжала — в Венецию, на Маджорку. Оба раза — в ожидании чуда, которое должен был произвести отъезд. И оба раза обнаруживала, что отъезд ничего не производит сам по себе. Что место — всего лишь место. Что чужой город — это чужой город, с чужими запахами, чужой болезнью, чужой зимой.

На Маджорке они — она и больной великий композитор, с которым она тогда была, — оказались в заброшенном картезианском монастыре, продуваемом насквозь, в окружении настороженного местного люда, без нормального врача, в сыром холоде. Он болел. Она писала. Дети мёрзли. Романтика, выдуманная заранее, натолкнулась на прозаическую действительность острова, который совсем не был готов принять

двух парижан, приехавших за идиллией. Зима на Маджорке не была похожа на ту Маджорку, которую они вообразили в Париже.

В Венеции было иначе — но не лучше. Там болезнь оказалась серьезнее. Там одиночество среди людей — острее. Там выяснилось, что романтика путешествия вдвоём требует, чтобы оба были здоровы и в равных силах. Когда один сломлен — другой становится нянькой, а не спутником.

Идеальная любовь живёт в одном моменте — не в месте. Её нельзя вывезти за границу и там найти в лучшем виде. Она либо есть здесь — в твоей каждодневной жизни, в обычном свете обычного утра, — либо её нет нигде. Маджорка не сделает из двух людей, которые разлюбили, счастливую пару. Венеция не создаст той близости, которой не было в Париже. Страна не исправляет отношений — она только обнажает их.

Идиллия, выдуманная заранее, всегда испытание. Потому что она требует от реальности слишком многого. Она говорит: там будет иначе. Там — лучше. Там у нас будет время, будет тишина, будет что-то, чего здесь не хватает. Но в «там» ты приезжаешь с теми же вопросами, с теми же обидами, с теми же неразрешёнными разговорами. Только теперь ты ещё и в незнакомом месте, где трудно купить нужное лекарство и где тебя никто не знает.

Эгоцентризм юности — и отрешённость зрелости: эту пару Санд однажды вынесла в самый заголовок одной из своих глав, как будто хотела сказать: вот два полюса, между которыми проходит жизнь. Юность верит в пространство как в лекарство. Зрелость знает, что пространство — нейтрально. Оно не помогает и не

мешает. Помогает только то, что ты принесёшь с собой: честность, терпение, готовность видеть человека рядом таким, каков он есть, а не таким, каким ты его воображала в мечтах об идиллии.

Самое трудное в этом опыте — не то, что он разочаровывает. Это переносимо. Самое трудное — то, что он обнажает. Когда двое оказываются вдвоём в незнакомом месте, без привычных занятий и привычных компаний, без спасительной суеты — тут-то и становится видно, есть ли им что сказать друг другу. Есть ли им что делать вдвоём в тишине. Можно ли молчать рядом — не от холодности, а от покоя. И если выясняется, что разговор кончается через час, а потом оба тянутся к книге или к отдельному окну, — это не конец света. Это честный ответ на важный вопрос.

Санд знала это и изнутри: идиллия выдумывается заранее романтикой, которой нет. Жизнь в чужом городе подчиняется не воображению, а прозе. Быт не становится поэтичнее от того, что ты едешь его в другом городе. Нужно стирать — стирается. Нужно платить за жильё — платится. Нужно спать — и спишь. Всё это — не враги романтики. Это просто жизнь, которая продолжается и в другом городе. И если ты приехала за идиллией, а получила быт — это не предательство жизни, это ошибка ожидания. Жизнь не обязана быть красивой. Она обязана быть настоящей. И настоящая жизнь — это во много раз больше, чем выдуманная заранее.

Добавлю от себя: мужчина, который предлагает женщине «уехать вдвоём», иногда имеет в виду: там станет легче. Там у нас всё наладится. Но никакое место не наладит того, что сломано в отношениях. Если что-то надо чинить — чинить надо здесь, сейчас, не меняя декораций. А если в отношениях всё хорошо —

любое место будет хорошим. Декорации не создают близости. Близость создаётся иначе — медленнее и труднее.

Есть ещё одна вещь, которую Санд поняла на Маджорке и в Венеции: совместное переживание трудного сближает не меньше, чем совместное переживание прекрасного. Когда вокруг идёт дождь и кровля течёт, когда провизия плохая, а постель жёсткая, — двое или сближаются в этом неудобстве, или обнаруживают, что им не о чем говорить кроме жалоб. Настоящая идиллия — не та, где всё красиво. Та, где двоим вместе хорошо даже тогда, когда некрасиво. И если путешествие обнажило это — оно было не зря, даже если разочаровало.

Дочь моя, не жди от путешествия того, что может дать только внутренняя работа. Поездка — радость. Новое место — дар. Но идиллия, которую ты выдумала заранее, — это твой рисунок, не реальность. Реальность будет другой — и это хорошо. Научись принимать её такой, какая она есть, вместе с человеком, который едет рядом. Это и будет настоящим путешествием.

• • •

Глава III.19

Брак как святыня

Санд вышла замуж молодой — и надолго. Несколько лет она терпела то, что терпеть было нельзя; потом ушла. Её уход стоил ей судебной тяжбы, публичного скандала, нападок в газетах. И всё же — она говорит о браке не с горечью. Она говорит о нём с

уважением — тем более глубоким, что оно прошло через разочарование.

Не всякая женщина её времени могла так говорить. Большинство молчали — из приличия, из страха, из привычки. Она говорит. И говорит не «брак — это тюрьма». Она говорит: брак — это святыня. И именно поэтому с ним нельзя обращаться легко.

Об отце своём она пишет с нежностью и с уважением, которое никакие годы не умалили:

« *Il avait voulu sanctifier son amour par un engagement indissoluble.* »

«Он хотел освятить свою любовь нерасторжимым союзом.»

«Sanctifier» — освятить. Это слово не юридическое. Оно не означает «оформить» или «узаконить». Оно означает: сделать священным. Сделать таким, что больше тебя самого. Отдать под защиту чего-то большего, чем случайное желание и временное чувство. Её отец женился не потому, что так надо. Он женился, потому что любил — и хотел, чтобы эта любовь стояла на чём-то более твёрдом, чем его собственная воля.

Это и есть её понимание брака: не договор двух людей об удобстве, не страховка от одиночества, не способ угодить родителям или обществу. А решение — взять на себя обязательство любить. Не тогда, когда это легко. Тогда, когда невыносим.

Эта формулировка — «любить тогда, когда невыносим» — звучит сурово. Но именно она и отделяет брак от всего остального. Всё остальное — влечение, страсть, нежность,

восхищение, привязанность — может существовать и без обязательства. Брак добавляет к этому одно: я остаюсь. Не потому, что ты сейчас хорош. А потому, что я решила — с тобой. Это обязательство и делает брак браком; без него это просто совместная жизнь, сколь бы прекрасной она ни была.

И именно поэтому Санд не любит ни лёгкого брака, заключённого «по удобству», ни лёгкого расставания, заключённого по капризу. Обе эти лёгкости — одинаково лишают брак его смысла. Если ты вошла без серьёзности — ты ничего особенного не взяла на себя. Если ты вышла без серьёзности — ты выбросила то, что брала. И в обоих случаях слово «sanctifier» не было произнесено.

Санд при этом не проповедует терпение любой ценой. Она сама не осталась — и не считает себя за это виноватой. Она пишет об этом без самооправдания, но и без покаяния:

« Je ne trouve ni délicat, ni convenable, ni honnête, que pour m'excuser de n'avoir pas persévéré à vivre sous le toit conjugal, on accuse mon mari de torts dont j'ai absolument cessé de me plaindre depuis que j'ai reconquis mon indépendance. »

«Я не нахожу ни деликатным, ни приличным, ни честным, чтобы меня оправдывали — за то, что я не осталась жить под кровлей супруга, — обвинениями мужа в проступках, на которые я совершенно перестала жаловаться с тех пор, как вернула себе независимость.»

Вот зрелое слово. Она не чернит бывшего мужа. Она не пересказывает обид. Она ушла — и считает это своим делом, а не предметом публичного суда над ним. Свобода, добытая злословием о прошлом, — это не свобода, а другой вид

зависимости. Она хочет быть свободной по-настоящему — а значит, перестать обвинять.

И здесь — одна из самых болезненных её наблюдений о том, как общество обращается с теми, кто решается на раздельное проживание:

« *Elle force l'un des époux, le plus mécontent, le plus blessé des deux, à subir une existence impossible ou à mettre au jour les plaies de son âme.* »

«Он вынуждает одного из супругов, более недовольного, более уязвленного из двоих, либо терпеть невозможное существование, либо выставить на свет раны своей души.»

Это — о законе её времени. Но мысль, стоящая за этим, вечная: разрыв брака — это рана. И рана, выставленная на публику, не заживает чище. Она заживает хуже. Поэтому — если уж расставаться, то с достоинством. Без мести. Без стремления разрушить того, кого когда-то любила.

Добавлю от себя: мужчина, который входит в брак легко, как в договор, — часто так же легко из него выходит. И не понимает, почему женщина, казалось бы согласившаяся, вдруг так ранена. Потому что для неё — это было святыней. А для него — сделкой. Разница в понимании брака — одна из самых болезненных, какие только бывают между двумя людьми. И эта разница должна быть обнаружена и названа до свадьбы, а не после.

Санд знала замужество изнутри — не в романах, а в жизни. И именно поэтому её слово об этом не пустое и не книжное. Она не говорит «замужество прекрасно» — она говорит «замужество требует чего-то от обоих, что не всегда легко найти». То, что оно

требует, — это готовность к такому знанию друг друга, которое растёт не за один день. Готовность остаться рядом и тогда, когда очарование прошло. Готовность радоваться и тогда, когда радость самоочевидна. Готовность сердиться — и молчать, потому что некоторые вещи не говорятся. Юность принимает брак за начало сказки. Зрелость знает, что брак — это начало работы.

Есть и обратное: брак, заключённый в правильном духе, становится со временем тем, чем не может стать никакая иная связь. Он накапливает общую память — маленькую, бытовую, незаметную снаружи. Он знает оба лица человека: то, что обращено к миру, и то, что скрыто от всех. Он умеет помолчать. Он знает, как человек болеет и как просит прощения. И эта неромантическая, несказочная близость — если её хранить, если к ней относиться серьёзно — стоит больше, чем любая мимолётная страсть. Она не горит ярче. Но она — дольше. И её тепло, в отличие от жара страсти, не обжигает.

Дочь моя, не выходи замуж, чтобы не быть одной. Не выходи замуж, чтобы успокоить тех, кто тебя торопит. Выходи замуж тогда, когда ты готова сказать человеку рядом: я решила с тобой. Не потому, что сейчас хорошо. А потому, что я решила — любить тебя и тогда, когда будет трудно. Если ты не чувствуешь в себе этой готовности — подожди. Лучше долго ждать, чем освятить то, что не заслуживало святости. И когда придёт время уходить — уходи без злобы. С достоинством. Потому что человек, которого ты когда-то выбрала, заслуживает этого — хотя бы в память о том, что было.

Цитаты приведены по изданию: George Sand. Histoire de ma vie. Paris: Victor Lecou, 1854–1855 (электронный текст — Project Gutenberg, eBooks № 39101,

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

41322, 42765). Переводы — авторские, выполнены для настоящего издания.

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

ЧАСТЬ IV

ДОМ

как ты строишь жизнь

• • •

Глава IV.20

О мужчине: какова его мера

Есть вопрос, который молодая женщина задаёт себе в ту минуту, когда перед ней возникает мужчина, претендующий на её внимание. Она задаёт этот вопрос неосознанно, почти помимо воли, и вопрос этот звучит так: силен ли он? Красив ли он? Удачлив ли он? Обласкан ли он судьбой и светом? Все эти вопросы — не дурные, нет; но все они — не те. И зрелая женщина, прожившая достаточно, чтобы видеть сквозь обаяние силы и блеска, говорит тебе, дочь моя: вопрос должен быть другим.

Мне сдаётся, что мужчину делает не сила и не успех. Их могут дать ему удача, рождение, обстоятельства — всё, что от него самого не зависит, всё, что время может отнять так же легко, как дало. Его делают серьёзность и верность. Серьёзность — это когда он не играет ни с чужой жизнью, ни со своею. Верность — это когда он умеет выбрать одно и не оглядываться на то, что осталось за спиной. Вот мера мужчины, и более строгой я не знаю.

Откуда берётся эта серьёзность — в человеке, ещё не окрепшем, ещё не прожившем достаточно, чтобы сказать о себе: я знаю, кто я? Она берётся из первой школы, которую он когда-либо проходит. Санд написала об этом с той ясностью, которая присуща только прожитой истине:

« S'il est capable d'aimer ardemment et noblement cette nouvelle idole, c'est qu'il aura fait avec sa mère le saint apprentissage de l'amour vrai. »

«Если он способен полюбить эту новую возлюбленную пылко и благородно, то лишь потому, что прошёл с матерью своею святое ученичество истинной любви.»

«Святое ученичество» — *saint apprentissage*. Запомни этот оборот, дитя моё. Это не метафора и не украшение речи. Это почти анатомия. Мужчина не изобретает любовь из ничего; он переносит в неё — или не переносит — то, что узнал у первой женщины своей жизни. Если мать умела отвечать на его нежность нежностью, на его серьёзность серьёзностью — он выучился, что любовь есть взаимное признание, а не одностороннее требование. Если мать была холодна, или занята, или использовала сына как заложника в домашних распрях — он войдёт в любовь с незаживающей раной, и будет искать в каждой женщине недоданное, и каждой женщине будет за это мстить, сам того не зная.

Нет ничего страшнее мужчины с незаконченным ученичеством. Он привлекателен — потому что в нём всегда есть это тревожное неутолённое начало, тянущее к нему других, как тянут к себе незавершённые истории. Он обещает — потому что в глубине его, под всем рассеянным и легкомысленным, живёт подлинная жажда любви, к которой он сам пробиться не умеет, которую он узнаёт в других, не умея разглядеть в себе. Он ранит — потому что не умеет быть верным тому, что нашёл, он всё ищет то, чего не находит. И каждая женщина, которая думает, что именно она вылечит его, — ошибается: он вылечится только тогда, когда сам захочет это

ученичество пройти, когда признает перед собой, что рана есть, и захочет её исцелить. Или не вылечится никогда.

Между тем мужчина серьёзный — узнаётся не по внешнему блеску. Его узнаёшь по тому, как он говорит о работе: без пренебрежения и без бахвальства, а с той тихой верностью ремеслу, которая есть первый признак зрелого человека. По тому, как он хранит дружбу: не бросает людей при перемене обстоятельств, не переписывает задним числом прошлого, не клянётся в вечной дружбе тем, кого отныне избегает. По тому, как он говорит о женщинах, которых любил прежде: без злорадства, без мстительной лжи в ту или в другую сторону, без желания переписать собственную историю так, чтобы он в ней всегда оказывался правым.

Но более всего — по тому, как он держит слово самому себе. Ибо кто не верен своей же совести, тот не будет верен никому.

| *« Il n'est pas un instant dans ma vie où je ne pense à toi. »*

«Нет в моей жизни ни единого мгновения, когда я не думал бы о тебе.»

Это слова из письма, которое Санд хранила и цитировала — слова человека, умевшего думать о другом больше, чем о себе. Мужская верность — это именно такое постоянство мысли, а не только верность постели или слова. Это привычка возвращаться к тому, что выбрал, внутренне, снова и снова, пока выбор не становится самой тканью человека. Верный мужчина — не тот, кто не способен на искушение; он способен, как всякий человек. Но он умеет возвращаться. Умеет признать своё заблуждение без самоуничужения и без оправданий. Умеет сказать: я ошибся, я

здесь.

Санд видела в своей жизни и тех, кто умел, и тех, кто не умел. Она не осуждала безоглядно ни тех ни других — она была слишком умна для того, чтобы путать слабость характера с пороком природы, и слишком честна, чтобы делать вид, что эта разница несущественна. Но она умела отличать одно от другого. Слабость поддается труду и времени; порок не поддается ничему, пока человек сам не захочет перемены. И зрелая женщина видит эту разницу — хотя молодой она почти невидима за обаянием страсти, которая всему находит оправдание.

Я добавлю здесь, как мужчина, читающий эти страницы: нам, мужчинам, легче понять серьёзность как категорию умственную — «быть серьёзным значит думать основательно». Санд разумеет нечто более широкое. Серьёзный мужчина — тот, кто отдаёт себе отчёт в том, что делает с чужой жизнью, когда входит в неё. Он знает: войти — это уже ответственность. Взять за руку — уже обязательство. Сказать «я рядом» — уже обещание. И если он этого не знает или не хочет знать — он ещё не мужчина, сколько бы ни было ему лет от роду.

« *Le vœu de la Providence, je dirai même la loi divine, est transgressée chaque fois qu'un homme et une femme unissent leurs lèvres sans unir leurs cœurs et leurs intelligences.* »

«Воля Провидения, скажу даже — закон Божий, нарушается всякий раз, когда мужчина и женщина соединяют уста, не соединив сердец и умов своих.»

Вот его мера, дочь моя. Не сила, не положение, не красноречие, не то восхитительное умение, с которым иные мужчины входят в

комнату и сразу становятся центром. Спроси себя, когда он перед тобой: серьёзен ли он — в труде, в дружбе, в обещаниях? Верен ли он тому одному, что выбирает, или сегодня выбирает одно, а завтра оглядывается на другое? Учился ли он любви у матери — или несёт в себе незаживший голод, который ты не сумеешь насытить, сколько бы ни старалась? Даже самый простой из этих вопросов, заданный себе честно, даёт больше, чем все разговоры о чувствах.

Если ответ «да» — присмотришься с вниманием и без спешки. Если ответ «нет» — никакое обаяние, никакая страсть, никакое обещание не заменят тебе то, чего он дать не умеет. Молодой женщине всегда кажется, что она сможет изменить человека. Зрелая женщина знает: изменить человека можно только в том смысле, что быть рядом с достойным делает нас достойнее. Но исправить того, кто не хочет сам себя исправить, — не в нашей власти, и претендовать на эту власть — значит обречь себя на многолетнее изнурение без плода.

• • •

Глава IV.21

О женщине: гордость, мера, стыдливость

Говорить о женщине труднее, чем говорить о мужчине. Когда говоришь о мужчине, ты говоришь о ком-то другом — и дистанция даёт ясность. Когда говоришь о женщине, ты говоришь о себе; и тут та ясность, которая казалась лёгкой, вдруг даётся с

трудом. Санд это чувствовала лучше, чем кто-либо. И всё же в зрелые годы она говорила о женщине строже, чем о мужчине, — с той беспощадностью, на которую имеет право только тот, кто сам прошёл через описываемое и не простил себе ни одного из обнаруженных в себе изъянов.

Первое, о чём она предупреждает, — это гордыня. Не грубая, не очевидная — та, которую немедленно узнаёшь и осуждаешь в других. Нет, гордыня тонкая, почти неотличимая от добродетели. Гордыня невинности. Гордыня неопытности. Гордыня ровности духа, которую так легко принять за смирение. Санд написала о себе молодой с той острой точностью, которую даёт только прожитый стыд:

«*J'avais l'orgueil de ma candeur, de mon inexpérience, de ma facile égalité d'âme.*»

«У меня была гордыня моего простодушия, моей неопытности, моей лёгкой ровности духа.»

Прочти это дважды, дочь моя. Гордыня простодушия — это когда «я неопытнее всех, и потому чище всех». Гордыня неопытности — это когда «я ещё не успела запятнаться, и потому я лучше тех, кто успел». Гордыня ровности духа — это когда «меня не задевает то, что задевает других, — и я этим горжусь, хотя и не говорю об этом вслух». Все три — соблазнительны именно потому, что выглядят как скромность. Молодая женщина, исповедующая их, убеждена в своей кротости. И именно это убеждение делает их опасными — потому что они недоступны самокритике: нельзя упрекнуть себя в гордыне, которую принимаешь за смирение.

Я помню, как сама в молодости уверяла себя, что моя отстранённость от светских развлечений есть признак высоты духа, а не признак страха. Что моя неопытность в сердечных делах есть достоинство, а не просто неопытность, которой следует стыдиться или учиться. Что я ровнее других, спокойнее других, глубже других — и, стало быть, не нуждаюсь в том, в чём нуждаются другие. Это был соблазн чистейшей воды, и я поддалась ему с большим охотой, потому что он был удобен: он позволял не меняться, не рисковать, не входить в ту неловкость, которую требует подлинный опыт. Зрелость научила меня видеть в нём то, чем он был: самолюбие, одетое в белые одежды.

Ибо подлинная кротость не сравнивает. Подлинное смирение не знает себя смиренным — как только внутри возникает мысль «я смиреннее прочих», смирение тут же и исчезает, уступив место своей изнанке. Как только молодая женщина думает «я невиннее всех» или «я чище прочих» — это уже не чистота, а её тень, её муляж, выставленный на обозрение ради удовольствия на него смотреть.

Молодая женщина думает, что это легко: быть честной с самой собой. Зрелая знает, что это один из тяжелейших навыков, которые даёт жизнь. Мы все умеем льстить себе; мы все умеем находить объяснения, которые делают нас правыми; мы все умеем переименовывать трусость в благоразумие, а капризность — в принципиальность. Санд не щадила себя в этом — и поэтому имела право не щадить других.

Между тем стыдливость, о которой говорит Санд, — совершенно иного свойства. Не запрет, не узда, не правило общества, требующее от женщины одного и позволяющее ей

другое. Нет — это внутренняя мера. Свет, по которому женщина сама ориентируется в собственной душе. Женщины, говорит Санд,

«...*qui sont aidées par la pudeur et par l'opinion, peuvent fort bien, quelle que soit leur situation dans la vie, accepter cette doctrine quand elles sentent qu'elles valent la peine de l'observer.*

»

«...которым помогают стыдливость и общественное мнение, вполне могут — какова бы ни была их участь — принять эту науку, если только чувствуют, что стоят труда её соблюсти.»

«Если чувствуют, что стоят труда её соблюсти». Не «если им так велено». Не «если так принято». А — если они уважают себя достаточно. Вот в чём разница между стыдливостью как страхом и стыдливостью как мерой: первая — снаружи, вторая — внутри. Первая рухнет, как только внешнее давление ослабнет; вторая устоит, потому что она не о приличиях, а о самоуважении. И самоуважение это не требует зрителей: оно работает одинаково и на людях, и в одиночестве.

Чистота для Санд — не «я лучше», а «я хочу быть собой и держать слово». Это совершенно иное основание. «Я лучше» — сравнение, оно требует других людей, на фоне которых ты блистаешь своей белизной; убери их — и сравнение теряет смысл. «Я хочу быть собой» — это обещание, данное самой себе, и оно никого не нуждается. Ты можешь быть окружена людьми, которые поступают иначе, — и это не отменит твоего обещания. Ты можешь сама оступиться — и это не сделает обещание ложью, а лишь потребует его возобновить с большей честностью.

Мера женщины — это умение знать, чего она хочет, и не называть это красивыми именами, которых оно не заслуживает. Не называть жалостью то, что есть страсть. Не называть дружбой то, что уже стало чем-то большим. Не называть безразличием то, что есть боль, которую неловко признать. Не называть добродетелью привычку к тому, что просто даётся без труда. Эта честность с самой собой — и есть подлинная мера.

« *Il faut avoir connu les passions de la femme et les tendresses de la mère pour entrer dans la tolérance complète.* »

«Надобно изведать страсти женщины и нежности матери, чтобы войти в полную терпимость.»

Полная терпимость — это не равнодушие и не попустительство. Это способность смотреть на человека без заранее составленного приговора, потому что сама прошла через достаточно, чтобы знать: жизнь сложнее, чем любой приговор, и люди сложнее, чем наши о них представления. Страсть учит знать своё тело и свою душу; материнство учит отдавать, не торгуясь. Без первого опыта женщина рискует остаться холодным судьёй; без второго — вечным ребёнком, требующим внимания.

Есть и ещё одно, о чём нельзя умолчать: гордость женщины — та особая гордость, которая велит ей не унижаться, не выпрашивать любви, не цепляться за человека, который уходит. Санд понимала гордость как достоинство, а не как надменность. Она пишет о минуте, когда нужно было отпустить:

« *Il y a un point de détachement où celui qui a fait le premier pas ne doit plus être interrogé et persécuté, sous peine d'être forcé de devenir cruel ou malheureux.* »

«Есть предел отчуждения, по достижении которого того, кто сделал первый шаг, уже не должно допрашивать и преследовать — иначе его вынуждают быть либо жестоким, либо несчастным.»

Это великое слово о гордости. Принуждать человека любить тебя унижением — значит принуждать его к жестокости или к притворству. Ни то ни другое не даст тебе того, чего ты хочешь. Гордость велит отпустить — не из равнодушия, а из уважения: к нему, к себе, к тому, что между вами было настоящего.

Санд прожила несколько историй, в которых это слово потребовало от неё всей силы. Она не умела быть холодной — и именно потому ей была так нужна гордость: не как щит против чувства, а как внутренний закон, который не позволял чувству унижить её. Она могла страдать — и страдала. Она могла горевать — и горевала. Но она не позволяла себе ни молить, ни упрекать, ни цепляться за уходящее. Не потому что это было легко. А потому что она понимала: человек, который удерживает другого унижением, теряет уважение к себе раньше, чем теряет его. И это потеря, которую не компенсирует никакое возвращение.

Гордость — это не надменность, дитя моё. Это умение остаться собой, когда всё вокруг тебя говорит: стань меньше, стань тише, стань удобнее. Женщина, которая знает свою меру, не должна уменьшаться ради того, чтобы быть принятой. Она может уступить — но добровольно, из щедрости, не из страха. Разница между этими двумя уступками — как разница между подарком и данью.

Дочь моя, не строй своей чистоты на сравнении с другими. Люди вокруг тебя будут жить так, как умеют, — и ни один из них не является зеркалом, по которому тебе следует мерить себя. Твоя

мера — внутри тебя. Держи её тихо, держи её твёрдо. И когда ты не уверена, правильно ли ты поступаешь, — спроси себя не «что скажут», а «могу ли я, сказав это вслух себе самой, не отвести глаза».

• • •

Глава IV.22

Материнство как ремесло

Есть слово, которое произносят слишком легко. Его произносят с умилением, с торжественностью, с той особой влажностью в голосе, которая сигнализирует: здесь — святыня, сюда без умиления не входят. Слово это — «материнство». И именно поэтому зрелая Санд говорит о нём жёстче, чем принято, — потому что в этой жёсткости больше уважения к делу, чем в любом умилении; потому что дело, которое делают, не воспевая, а понимая — делают лучше.

Материнство — ремесло. Не символ, не состояние души, не украшение биографии. Ремесло — со своими трудными часами, со своими инструментами, со своей выучкой, которую нельзя заменить ни любовью, ни добрыми намерениями. Любовь здесь — не замена мастерству, а его условие: именно потому, что любишь, берёшься учиться.

Санд знала это не по книгам. Она ездила с больным ребёнком через горы — в ту долгую зиму на Майорке, когда жильё оказалось сырым и холодным, помощь — далёкой, а болезнь — упрямой.

Она не спала ночей, пока дети болели, — и это были не красивые бессонные ночи из романов, а изматывающие, горькие, с тревогой, которая не даёт думать ни о чём другом. Она учила детей сама — без учителей в достаточном количестве, без денег в достаточном количестве, — учила латыни, истории, тому, что считала нужным передать, потому что считала нужным передать что-то определённое, а не всё подряд. Она писала свои романы ночью, после того как укладывала детей, потому что только так совмещалось ремесло писателя с ремеслом матери — и то и другое требовало всё, и обоим она не отдавала ничего вполсилы.

« *Nulle âme n'était plus noble, plus délicate, plus désintéressée; nul commerce plus fidèle et plus loyal.* »

«Никакая душа не была благороднее, деликатнее, бескорыстнее; никакое общение — вернее и лояльнее.»

Это написано о другом — но я привожу здесь, потому что именно такими словами Санд описывала тех, кого любила по-настоящему. И матерински любить ребёнка — значит обращаться с ним с этим же уважением: как с душой благородной и деликатной, а не как с комком глины, которую ещё предстоит вылепить.

Между тем материнство — ремесло не только в смысле физического труда. Оно ремесло ещё в том смысле, что требует от тебя понять, а не вылепить. Ребёнок — не материал, из которого ты строишь свой идеал. Ребёнок — собственный человек, пришедший в мир со своим характером, своими склонностями, своей мерой. И твоя задача — не переделать его под себя, а разглядеть, кто он, и помочь ему стать именно этим — а не тем, кем тебе хотелось бы его видеть.

Это, сдаётся мне, труднее всего остального. Потому что любовь матери инстинктивно тянется к обладанию, к лепке, к тому, чтобы ребёнок был продолжением её самой — её ценностей, её судьбы, её нереализованных желаний, тех её возможностей, которым не дали развернуться обстоятельства. Это понятно и даже, в малых дозах, безвредно. Но когда мать начинает считать своей победой каждое сходство ребёнка с собой и своей неудачей каждое отличие — она уже переступила ту черту, за которой любовь начинает мешать, а не помогать. И нужно большое мужество, чтобы остановиться и сказать себе: он — не я. Она — не я. И это не отчуждение, а уважение — уважение к тайне другого существа, которое она не в силах и не вправе разгадать до конца, которое пришло в мир с собственной задачей, ещё не известной никому.

Санд не идеализировала своё материнство. Она знала его цену — в бессонных ночах, в тревожных переездах, в той особенной горечи, когда ребёнок, которому ты отдала столько, смотрит на тебя как на помеху или обращается с тобой хуже, чем с чужой. Она знала и ошибки свои: бывало, что она была слишком поглощена работой, бывало, что жизнь разбрасывала её по разным городам и домам, бывало, что дети оставались с другими, пока она писала или была в дороге. Она не прятала этого за умильным образом матери-страдалицы. Она говорила о своём материнстве честно — именно потому, что уважала его как ремесло, а не как повинность и не как украшение.

« *C'est le devoir, et non le bonheur qui se commande, qui nous fait mères dans les heures difficiles.* »

«Долг, а не счастье, которого нельзя потребовать, делает нас матерями в трудные часы.»

Долг — не в смысле тягостной повинности. Долг в старом, добром смысле: то, что ты должна делу, которое взяла на себя, делу, от которого нельзя отступить без потерь — для ребёнка и для себя. Когда ты берёшь ребёнка на руки в первый раз, ты берёшь обязательство — долгое, трудное, не всегда благодарное, нередко с результатами, которых ты не предвидела и не хотела. И исполнять его с мастерством, с терпением, с трезвым взглядом — не теряя при этом ни себя, ни своего ума, ни своей способности думать о чём-то, кроме детской болезни и детской капризности, — это и есть ремесло, которое достойно уважения.

Между тем в этом ремесле есть ещё одно, о чём нечасто говорят: умение принять то, что невозможно исправить. Болезнь — не всегда лечится. Характер — не всегда смягчается. Выбор ребёнка — не всегда тот, которого ты ждала. И материнская мудрость состоит не в том, чтобы не страдать от этого несоответствия — страдать неизбежно, — а в том, чтобы, страдая, не наказывать ребёнка за то, что он живёт своей жизнью, а не твоей.

Дочь моя, если ты захочешь стать матерью — готовься к труду, а не только к умилению. Умиление придёт само, в свои часы; оно будет прекрасным. Но труд нужно выбрать заранее, сознательно, зная, что он долгий и что в нём больше будней, чем праздников. Только тогда праздники — настоящие.

И ещё одно. Материнство как ремесло учит не опускать рук. Санд не оставляла писать, целиком уйдя в материнство; она не бросала детей, целиком уйдя в работу. Она делала оба этих дела одновременно — не потому что умела, а потому что другого не было. Такое совмещение — не подвиг и не идеал. Это ремесло, выполняемое с умением и с честью.



Глава IV.23

Когда дочь против тебя

Есть боль, о которой матери говорят редко. Не потому, что она редка — напротив, она почти всеобща; но именно потому, что говорить о ней значит признать нечто, с чем очень трудно примириться: твоя любовь не гарантирует ответной. Я говорю о том, когда ребёнок, которому ты отдала столько сил, столько ночей, столько любви, — оборачивается к тебе не с признательностью, а с холодом, с упрёком, а иногда и с открытой враждебностью.

Санд знала эту боль. Её своенравная дочь — Соланж — прошла через её жизнь как испытание, к которому ни одна материнская книга не готовит. Она была капризна, она была жестока в той особенной молодой жестокости, которая не понимает, что ранит, потому что слишком занята собственными страданиями, чтобы замечать чужие. Она делала выборы, от которых мать страдала. Она требовала, осуждала, отдалялась, возвращалась — и снова отдалялась. И Санд, которая умела говорить о многом с бесстрашной ясностью, об этой боли говорила скупно — не потому, что боялась признаться в ней, а потому что в ней было нечто такое, о чём слова дают лишь бледное подобие.

« *On ne doit pas plus disputer la possession d'une âme que celle d'un esclave. On doit rendre à l'homme sa liberté, à l'âme son élan, à Dieu la flamme émanée de lui.* »

«Нельзя оспаривать обладание душой так же, как нельзя оспаривать обладание рабом. Нужно вернуть человеку его свободу, душе — её порыв, Богу — пламя, от него исшедшее.»

Это страшные слова, когда к ним прикладывают материнство. Потому что материнская любовь инстинктивно говорит обратное: «она моя», «я отдала ей столько», «она обязана — хотя бы помнить, хотя бы понимать, хотя бы не ранить». Но Санд возражает этому инстинкту с той беспощадностью, которую только и может позволить себе человек, сам через это прошедший: ребёнок — не твой. Никогда не был. Ты была первой его родиной, но не его собственностью, и он — не твоя. Между вами есть связь — кровная, глубокая, нерасторжимая в каком-то смысле. Но это не означает, что его жизнь принадлежит тебе.

Право ребёнка на свой путь — даже против тебя — это одно из тех прав, которые труднее всего признать. Потому что оно отменяет то, что казалось справедливым: твои жертвы должны были что-то значить; твоя любовь должна была что-то гарантировать. Санд говорит: не должна была. Материнская любовь не покупает ответной. Она отдаётся не для того, чтобы вернуться — а для того, чтобы ребёнок имел основание, от которого отталкивается в свою жизнь. И иногда он отталкивается в сторону от тебя — так далеко, что долго не виден. И это — не твоя неудача. Это — его путь, со всеми его поворотами, которые ты не предвидела и которые не в твоей власти изменить.

Но как с этим жить? Как не мстить за неблагодарность — хотя бы молчанием, хотя бы холодом? Как не закрыться, не ожесточиться, не превратить любовь в обиду, которая ест изнутри и называет себя справедливостью?

«*Je ne trouve ni délicat, ni convenable, ni honnête... de l'accuser de torts dont j'ai absolument cessé de me plaindre depuis que j'ai reconquis mon indépendance.*»

«Я не нахожу ни деликатным, ни приличным, ни честным... обвинять в проступках, на которые я совершенно перестала жаловаться с тех пор, как вернула себе независимость.»

Это написано о муже — но применимо и к ребёнку, и к каждому, перед кем у нас счёт, который мы несём в себе годами. Ты уходишь — не из злобы, а потому что нельзя иначе. Ты прощаешь — не потому, что больше не больно, а потому, что обида не даст ни тебе, ни ей ничего, кроме отравленного воздуха в том пространстве, которое между вами осталось. Ты не жалуешься — потому что жаловаться на ребёнка значит использовать его беспомощность против него самого; значит превращать его в виновника своего страдания и лишать его возможности вернуться без стыда.

Между тем любить дочь, которая против тебя, — это один из самых трудных видов любви. Именно потому, что она требует от тебя любить без ответа, без благодарности, без уверенности в том, что она когда-нибудь поймёт — или что это вообще имеет какое-то значение для неё сейчас. Может, поймёт. Может, нет. Может, придёт к тебе — только тогда, когда сама станет матерью. Или не придёт никогда. Зрелая женщина, говорит Санд, принимает эту неопределённость: не как капитуляцию, а как честное признание

того, что жизнь не обязана складываться по нашим ожиданиям.

Есть ещё одно, о чём надо сказать прямо. Ребёнок, поднявшийся против тебя, нередко поднимается не против тебя — а против того, что ты для него означаешь: против ограничений жизни, против её несправедливостей, против собственного страха. Ты оказалась ближайшим берегом, в который волна ударила, потому что ты — рядом, потому что ты — безопасна для удара, потому что, где-то в глубине, она знает: ты не уйдёшь. Это не хорошо и не справедливо. Но это — правда.

« *Pour ceux qui sont nés compatissants, il y aura toujours à aimer sur la terre, par conséquent à plaindre, à servir, à souffrir.* »

«Для тех, кто родился сострадательным, на земле всегда будет кого любить — а значит, и кого жалеть, и кому служить, и от кого страдать.»

Это — не жалоба. Это — призвание. Зрелая мать принимает страдание от ребёнка не как несправедливость, которой она не заслужила, а как часть любви, которая по природе своей не может быть защищена от боли. Любовь всегда уязвима — именно потому, что она настоящая.

Дочь моя, если ты когда-нибудь почувствуешь, что твой ребёнок — против тебя: не спеши закрываться. Люби — тихо, без демонстраций, без торгов. Не требуй ответа. Не отсчитывай жертв. Не мсти молчанием. Будь рядом так, чтобы она могла вернуться, когда будет готова, — и не нашла у двери замка, повешенного обидой.

Зрелость не даёт защиты от этой боли. Она даёт только одно: способность нести её не как приговор, а как таковую часть любви, которая не гарантирует ответной, но требует чего-то большего, чем иной любви. Именно здесь, в отношениях с ребёнком, который против тебя, проверяется, дошла ли ты до того, что Санд называла зрелостью: умения любить без власти.

• • •

Глава IV.24

Труд и хлеб

Когда Санд впервые приехала в Париж зарабатывать пером — она была молода, у неё было двое детей, немного денег и огромная неопределённость впереди. Некоторые из тех, кто знал её, нашли в этом что-то постыдное: как можно опускаться до заработка, когда есть идеал? Разве поэзия совместима с такой меркантильной заботой? Неужели она столько жила в мечте лишь затем, чтобы превратить её в профессию?

Санд отвечала на это спокойно и твёрдо:

« *Quelques personnes crièrent fi ! La poésie pouvait-elle exister, disaient-elles, avec une semblable préoccupation ? Était-ce donc pour trouver une profession matérielle que j'avais tant vécu dans l'idéal ? Moi, j'avais mon idée là-dessus depuis longtemps. »*

«Некоторые особы возмущённо вскричали: разве может уживаться поэзия с подобной заботой? Неужели я столько жила в идеале лишь затем, чтобы добыть себе материальное ремесло? Я

же давно имела на сей счёт собственное мнение.»

Её мнение было просто: писатель должен писать, чтобы есть. Не потому, что целью литературы являются деньги — нет ничего более далёкого от её понимания. А потому, что писать «возвышенно», живя на чужой счёт, — уже само по себе ложь. Возвышенность, оплаченная чужим трудом, есть роскошь, а не добродетель. Идеал, не способный прокормить своего носителя, рано или поздно начинает требовать жертв с других. И это первый признак того, что он уже не идеал, а каприз, одетый в красивые слова.

Между тем Санд считала деньги. Это не унижает её — это возвышает. Она знала, сколько стоит рукопись, сколько — проживание в Ноане, сколько нужно на год, чтобы дети были здоровы, чтобы в доме был свет и тепло. Она не боялась говорить об этом — в то время, когда говорить о деньгах женщине считалось неприличным, когда принято было делать вид, что деньги приходят сами и сами уходят, как погода. Именно потому, что она умела их считать, она была свободна. Именно потому, что она зарабатывала сама — своим трудом, своим именем, своим пером, — она могла выбирать: что писать и как жить, кого принимать и от кого отказываться.

« *C'est un devoir de faire profiter les autres de sa propre expérience.* »

«Это долг — поделиться с другими своим собственным опытом.»

Вот что такое призвание писателя в её понимании. Не слава, не увековечение имени, не тщеславное «я скажу людям, что думаю».

Долг — передать то, что узнал, тем, кто идёт следом. И этот долг выполняется через труд — терпеливый, ежедневный, не всегда вдохновенный, но всегда честный. Санд писала каждый день — не потому что каждый день вдохновлялась, а потому что умела работать и без вдохновения, потому что знала: ремесло кормит тогда, когда его делают, а не когда ждут особого расположения духа.

Здесь Санд — один из самых трезвых учителей, какие есть. Она не говорит: отбрось мечту ради хлеба. Она говорит обратное: пусть твоя мечта сама становится хлебом. Пусть то, что ты умеешь и любишь делать, кормит тебя — тогда ты не предашь ни мечту, ни себя. Тогда твой идеал будет честным, потому что ты за него платишь, а не требуешь, чтобы за него платили другие. Тогда у тебя не будет нужды оправдывать свои творческие притязания за чужой счёт — и тот особый стыд, который чувствуется, но не называется, перестанет примешиваться к радости творчества.

Свобода располагать собой — вот ради чего считают деньги. Не ради роскоши, не ради самолюбования, а ради того, чтобы не зависеть от чужой воли в главных решениях своей жизни. Женщина, которая не умеет зарабатывать, любит несвободно — потому что в каждой её привязанности сидит страх: а что если это кончится? Что если он уйдёт? Что если я останусь одна — с чем? И этот страх, хочет она того или нет, влияет на каждый её выбор. Делает её, даже при внешней независимости, несвободной внутри.

| *« Je sais bien que je n'écris pas pour le genre humain. »*

«Я знаю прекрасно, что пишу не для рода человеческого.»

Это удивительная честность. Не «я пишу для вечности», не «мои книги изменят мир». Нет: я пишу — для ближних, для тех, кто рядом и кто придёт следом. И я пишу потому, что это мой труд, моё ремесло, мой хлеб. И хлеб этот — честный: я зарабатываю его тем, что умею и что считаю нужным делать. В этой малой фразе — целая программа достоинства.

Только женщина, умеющая прокормить себя, отдаёт свободно. Только та, у кого есть основание под ногами, может позволить себе любить не из нужды, а из желания, не из страха остаться одной, а из подлинного выбора быть с этим человеком. И только та, у кого есть ремесло — настоящее, с которым она управляется и которое уважает, — знает цену своего времени и никому не отдаст его даром.

В труде есть ещё одно, о чём молодая женщина редко думает заранее. Труд — это не только средство к жизни. Это способ быть собой. Когда ты работаешь — ты знаешь, кто ты. Когда ты выполняешь своё дело хорошо — ты знаешь себе цену. Когда ты держишь слово, данное себе как работнику, — ты учишься держать слово и в остальном. Труд — это школа верности, которую Санд проходила всю жизнь: каждое утро за столом, каждую ночь с пером в руке, каждый год с новой рукописью, независимо от того, что происходило вокруг — революции, любви, потери, болезни детей.

Дочь моя, найди ремесло, которое тебя кормит — и которое ты уважаешь. В остальном природа позаботится сама. Учись считать деньги без стыда. Знай цену своего труда — и не отдавай его дешевле, чем он стоит, ни из скромности, ни из желания понравиться. Только женщина, которая умеет зарабатывать,

любит по-настоящему свободно. Только та, у кого есть свой хлеб, отдаёт его другому в подарок — а не потому, что больше некуда идти.

• • •

Глава IV.25

Ноан: дом, удержанный живым

Есть особое слово в жизни Жорж Санд — слово, которое возвращается в её воспоминаниях снова и снова, как тихий центр, к которому стягиваются все нити. Слово это — Ноан. Это не просто имя поместья в Берри, где она выросла и где провела большую часть зрелой жизни. Это — её понимание того, что такое дом. Не архитектурное понятие и не юридическое: дом как живое существо, которое нужно держать живым — или оно умрёт.

Дом — не стены. Дом — не семья, сведённая под одну кровлю. Дом — это общее дело, которое люди в нём делают вместе, и пока оно есть — есть дом. Когда его нет — остаётся общежитие: место, где живут рядом, не имея между собой ничего, кроме общей кровли, общего стола и общей привычки проходить мимо друг друга.

Ноан был жив потому, что в нём поддерживали огонь. Открытый стол — это не метафора. В Ноан приезжали все, кто хотел: художники, музыканты, политики, писатели, местные крестьяне, дети соседей, молодые люди, нуждавшиеся в том, чтобы их выслушали и накормили. Санд кормила их, принимала,

слушала. Её стол был частью её понимания жизни: человек, который закрывает свой дом, закрывает и свою душу. Открытость — не обязанность и не любезность, а образ жизни, который кормит не только гостей, но и тех, кто принимает.

« Toutes les existences sont solidaires les unes des autres, et tout être humain qui présenterait la sienne isolément, sans la rattacher à celle de ses semblables, n'offrirait qu'une énigme à débrouiller. »

«Все существования солидарны друг с другом, и всякий человек, который представил бы своё в отрыве от других, дал бы только загадку, которую остаётся разгадывать.»

Ноан был воплощением этой мысли: никакого отдельного существования, никакой жизни в стороне. Крестьяне Ноана были частью этого дома. Санд знала их по именам — не в качестве слуг или декоративного фона, а как людей, с которыми она разделяла один берриский воздух, одну землю, одно небо, одно понимание того, что значит работать и что значит отдыхать. Она хотела, чтобы между ними и ею не было той стены, которую ставило сословие. Не из политической программы — из понимания того, что дом без людей этой земли был бы пустым, как дом без памяти.

Был в Ноане домашний театр — любительский, весёлый, с куклами, которых мастерила собственными руками вместе с сыном, с пьесами, которые они сочиняли вместе, с занавесом, декорациями и теми особыми смехом и волнением, которые бывают только в домашних представлениях, — когда все в зале знают тех, кто на сцене, и это знание делает каждую реплику вдвойне смешнее или вдвойне пронзительнее, потому что за словами персонажа слышен голос человека, которого любишь.

Поэты-рабочие, которых Санд принимала и о которых думала с особой теплотой, бывали здесь — и этот театр был для них не забавой, а признанием: их считали достойными не только труда, но и искусства, не только поля и мастерской, но и сцены и разговора о прекрасном.

« *Le théâtre est une école où l'on apprend à se connaître et à se supporter mutuellement.* »

« Театр — это школа, где учатся узнавать друг друга и терпеть один другого. »

Терпеть — не в смысле страдать от присутствия других, а в том старом добром смысле: нести рядом с собой другого человека, не требуя от него быть таким, как ты хочешь. Домашний театр учил именно этому: каждый приносил в общее дело свой характер, свои способности, свои непредсказуемости — и всё вместе должно было стать спектаклем. Это требовало уступок, терпения, умения слышать другого прежде, чем настаивать на своём. Это требовало того самого, чего требует и жизнь — каждый день, не только в дни репетиций.

Между тем поддерживать дом живым — это труд. Не менее трудный, чем любое другое ремесло. Открытый стол требует денег, энергии, запасов терпения, которые никогда не кажутся достаточными. Домашний театр требует времени — много времени. Общее дело требует того, чтобы ты не уставала от людей прежде, чем они устали от тебя. Санд уставала. Ноан видывал её в состоянии полного изнеможения — после смерти близких, после политических катастроф, после разочарований, которые не умещались ни в одну страницу. Но она возвращалась — к столу, к куклам, к крестьянам, к пьесе, которую дописывали завтра.

Потому что знала: дом, который перестаёт быть местом общего дела, превращается в место одиночества — со всеми удобствами, но без смысла.

« *Le récit des souffrances et des luttes de la vie de chaque homme est donc l'enseignement de tous.* »

«Рассказ о страданиях и борьбе каждого человека — это поучение для всех.»

Это написано о книге — но применимо к дому. Дом, в котором люди встречаются, говорят, работают рядом, переносят вместе трудные минуты, — есть такое же поучение для всех. В нём каждый получает то, что нигде больше не получит: опыт настоящего соседства с другим человеком, который не твоя копия, который не обязан тебя понимать и всё же — рядом.

Ноан был связью — с бабушкой, которая здесь жила и здесь умерла; с крестьянами, чьи деды знали эту землю; с сыном, строившим здесь кукольный театр; с друзьями, приезжавшими сюда отдыхать от Парижа и его шума; с молодыми людьми, приезжавшими сюда за тем, чего им не хватало в городе, — за тишиной и за разговором. Санд держала этот дом живым не потому, что он был красив или удобен, и не из сентиментальной привязанности к месту детства, — а потому что в нём было это общее дело, эта живая нить между людьми, которую она умела тянуть и которую умела восстанавливать, когда она рвалась.

Дочь моя, когда ты будешь строить свой дом — спроси себя: что в нём будет общим делом? Что будет соединять тех, кто в нём живёт, с теми, кто в него приходит? Что сделает так, чтобы люди хотели возвращаться сюда не из привычки, а потому что здесь есть

что-то живое?

Если ответа нет — это ещё не дом, а только жилище. Дом начинается тогда, когда есть что-то, ради чего стоит за него держаться — не из боязни перемен и не из инерции, а из любви к тому, что в нём живёт и что живёт только тогда, когда ты его поддерживаешь.

Ноан учит одному: дом удерживается не замком на двери, а огнём в очаге. И огонь этот — общий.

В памяти Санд слово «Ноан» стоит рядом со словом «жизнь». Дом, который она держала живым, был для неё не убежищем от жизни, а её основанием. Именно потому, что в нём было общее дело, его можно было оставлять и возвращаться к нему снова в самые тяжёлые времена. И каждый, кто приходил в Ноан, чувствовал это: здесь некуда спешить и нечего стыдиться, здесь можно быть собой и делать что-то настоящее вместе с другими.

Что Жорж Санд хотела сказать своей дочери

ЧАСТЬ V

МИР

как ты живёшь среди людей



Глава V.26

Дружба, переживающая страсть

Есть вещи, которые понимаешь не в молодости. В молодости думают: самое великое — это любовь. Она ослепляет, она наполняет, она требует всего тебя целиком — и ты отдаёшь, легко и радостно, потому что в этой отдаче кажется, будто ты наконец нашла себя. Страсть горит высоко и горит жарко, и в её свете всё вокруг кажется иным — острее, ярче, значительнее. Но потом — и этот «потом» приходит скорее, чем ты ожидаешь, — любовь отступает. Иногда медленно, как отлив; иногда вдруг, как гаснет свеча. И вот тогда, дочь моя, выясняется, что именно осталось в твоей жизни после того, как гроза прошла.

Я знаю, что осталось у меня. Осталась дружба.

Не одна, не единственная — несколько. Те самые, которые видели меня в разные времена: в молодости, когда я была невыносимо нетерпелива и требовательна, в зрелости, когда я научилась немного молчать, в трудные годы, когда я нуждалась в опоре. И все эти дружбы пережили всё — страсти, разочарования, расстояния, молчаливые обиды, которые так и не были высказаны вслух. Пережили, потому что в основе их было что-то более прочное, чем обстоятельства.

Санд писала об этом с той смесью нежности и юмора, которая свойственна только тем, кто действительно вынес что-то из опыта,

а не просто обдумал его в тиши кабинета. Она называла их *«amitiés de quarante ans»* — дружбами сорока лет, теми, что прощают всё на своём веку: много глупостей, рваных платьев, сломанных игрушек, неистовых требований. В этом коротком перечне — целая жизнь. Потому что именно таковы были её дружбы: они видели её взволнованной и нелепой, они терпели её порывы и её ошибки, они не выходили из комнаты, когда она была невыносима. И она, в свою очередь, оставалась рядом с теми, кому было плохо, — не из долга, а потому что иначе не умела.

« *L'amitié est plus désintéressée que l'amour, elle partage toutes les peines et non tous les plaisirs.* »

«Дружба бескорыстнее любви: она делит все страдания и не все радости.»

Задумайся над этим. Любовь жадна до радости; она хочет быть рядом, когда ты счастлива, когда ты красива, когда ты блестяшь. И это не упрёк любви — такова её природа, и природа эта прекрасна в свой час. Но дружба берёт иное: она приходит именно тогда, когда тебе плохо, когда ты потеряна, когда ты не блестяшь и не красива. Она не уходит с наступлением темноты. Она остаётся как раз ради темноты. В этом «ради» — всё её существо.

Между тем настоящая дружба — явление редкое, хотя слово «друг» произносится легко и часто. Санд понимала эту разницу между именем и сущью. Она видела, как люди, именующие себя друзьями, исчезают при первом серьёзном испытании; и видела, как почти чужие вдруг оказывались рядом в самый тёмный час. Поэтому она относилась к этому слову с той точностью, с какой ювелир относится к названию камня: нельзя называть стеклом алмаз — но нельзя и называть алмазом стекло.

« Le nom d'ami est devenu si commun qu'on peut dire mes amis en parlant de deux cents personnes. Ce n'est pas une profanation... mais n'en vouez pas moins un culte à l'amitié particulière, et ne vous croyez pas dispensé d'avoir un ami, un ami parfait, c'est à dire une personne que vous aimez assez pour vouloir être parfait vous-même envers elle, une personne qui vous soit sacrée et pour qui vous soyez également sacré. »

«Слово "друг" стало столь обычным, что можно говорить "мои друзья" о двухстах людях. Это не кошуничество... но всё же посвятить особый культ дружбе единственной, и не считай себя освобождённой от необходимости иметь друга — друга совершенного, то есть человека, которого ты любишь настолько, что хочешь быть совершенной сама по отношению к нему, человека, который для тебя свят и для которого столь же свята ты сама.»

Вот что такое дружба в её понимании: не просто расположение, не приятное общество, не привычка встречаться за столом. Это — отношение, в котором ты хочешь быть достойна другого. Она говорит: хочешь иметь совершенного друга — сам стань совершенным перед ним. Другого пути нет, и никакого обходного пути нет тоже.

Мне сдаётся, что именно это отличает дружбу от всего остального. В любви мы часто хотим, чтобы нас принимали со всеми нашими несовершенствами — и это право есть, и это даже прекрасно. Но дружба взывает иначе: она говорит тебе, что ты можешь быть лучше — и ты веришь, потому что верит тот, кто рядом. Она не обманывает тебя насчёт твоих слабостей, но и не уходит из-за них. Это, пожалуй, самое редкое сочетание, какое

только бывает между людьми.

« *L'amitié a sa pudeur, comme l'amour a la sienne.* »

«Дружба имеет свою стыдливость, как любовь имеет свою.»

Это слова о друге-художнике, великом живописце, с которым она дружила многие годы и дружбу которого называла одной из чистейших в своей жизни. Она не пишет о нём напоказ, не раскрывает его писем, не делает из этой близости историческую страницу. Потому что дружба, в отличие от любви, не ищет свидетелей. Она живёт в той тишине, куда не пускают посторонних. И именно эта тишина делает её такой прочной — прочнее иных любовей, которые живут криком и нуждаются в свидетелях, чтобы верить в себя.

Великий живописец умел, по её словам, дружить так, что рядом с ним каждый чувствовал себя лучше, чем он есть на самом деле. Это особое свойство — не льстить и не хвалить сверх меры, а просто создавать вокруг себя пространство, где человек расцветает. Санд ценила в нём это, как ценила, должно быть, больше всего на свете: не блеск, а тепло. Не восхищение, а верность.

Я добавлю от себя, как мужчина, читавший её книгу: дружба требует терпения, которого любви часто не хватает. Любовь может сгореть за один вечер — и это бывает честно и страшно одновременно. Дружба горит медленно, как дерево в очаге, которое не вспыхивает, но греет всю ночь напролёт. Именно поэтому в старости, когда страсти отступают, остаётся то, что грело этим долгим ровным теплом — и продолжает греть, когда снаружи уже холодно.

Привилегия быть собой — вот что дарит подлинная дружба. Перед любимым мы порой надеваем лучшее платье, говорим лучшее, что умеем сказать, стараемся быть более красивыми и умными, чем мы есть. Это не ложь — это усилие любви, её честный порыв. Но это и усталость, если длится слишком долго. Перед другом — ни к чему стараться. Он видел тебя в рваном платье и со сломанной игрушкой в руках. И остался. Именно потому, что остался тогда, можно верить, что останется и теперь.

Дочь моя, береги таких людей. Их мало в жизни — тех, перед кем можно не притворяться и кому не нужно объяснять себя с начала при каждой встрече. Когда найдёшь — держи, как держат то, что нельзя заменить. Любовь иногда приходит дважды; такая дружба — почти никогда. Она складывается годами, слоями, из маленьких совместных переживаний, из молчаний, из ссор и примирений, из того, что оба помнят и никогда не упоминают. И это сокровище, дитя моё, — больше многих других.

Она ещё говорила о дружбе кое-что, что я хочу добавить отдельно. Она говорила, что сердце способно вместить много привязанностей — и что это не распыление, а рост. Что каждая подлинная привязанность расширяет сердце, а не делит его. Это против нашего инстинкта: мы часто думаем, что чем больше любишь одного, тем меньше остаётся другому. Но Санд знала иначе — и прожила иначе. Её дружбы не мешали одна другой и не отнимали друг у друга. Они питали её. Вот урок, который трудно принять умом — и который понимаешь только тогда, когда сам проживаешь.

• • •

Глава V.27

Дружба между мужчиной и женщиной

Есть вопрос, на который молодые женщины отвечают с лёгкостью — слишком легко, — а женщины постарше только улыбаются этой лёгкости. Вопрос о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. «Разумеется, возможна», — говорит молодость. «Всё зависит», — говорит зрелость.

Санд знала обе стороны ответа. Она дружила с мужчинами — близко, искренне, годами. С великим живописцем, с которым её дружба была, по её собственным словам, «без единого облака». С польским поэтом-пророком, в котором видела что-то провидческое и скорбное. С философами и художниками — людьми, которым она доверяла свои сомнения и которые доверяли ей свои. С Флобером, которому она писала почти до самого конца, — письма длинные, умные, полные нежности без единого намёка на что-то иное. И всё же, при всей этой богатой истории, она написала об этом с той осторожностью, которая стоила ей, должно быть, немало — именно потому, что знала предмет изнутри.

« *Il est bien rare qu'entre un homme et une femme, quelque pensée plus vive que ne le comporte de lien fraternel ne vienne jeter quelque trouble [...]* »

«Весьма редко бывает, чтобы между мужчиной и женщиной какая-нибудь более живая мысль, чем та, что допускает братская связь, не вносила некоего смятения.»

Она говорит это мягко, без осуждения, почти как о законе природы. Не «дружба невозможна» — а «смятение весьма вероятно». Это разные вещи, и Санд знала их разницу. Первое было бы ханжеством; второе — честностью. Первое закрыло бы ей половину мира — ту половину, которая дала ей самых верных собеседников в жизни. Второе помогло ей пройти этот мир без тех разрывов, которые случаются, когда правду о себе не говорят вовремя.

Между тем именно честность и есть единственное условие, на котором держится дружба между женщиной и женщиной. Санд говорила об этом прямо: нужно решить в самом начале. Не через год, не когда уже что-то случилось и слова стали тяжелее, — а в начале, когда ещё холодная голова и спокойное сердце. Если тебе этот человек интересен как мужчина — скажи себе правду, пусть это и трудно. Если нет — тоже скажи. И тогда строй отношения из этой правды, а не из удобного самообмана, который рано или поздно потребует цены.

« *Une femme chaste et sincère échappe vite à ce danger, et l'homme qui ne lui pardonne pas de n'avoir pas partagé ses agitations secrètes n'est pas digne du bienfait de l'amitié.* »

«Женщина целомудренная и искренняя быстро избегает этой опасности; и мужчина, который не прощает ей, что она не поделила его тайных волнений, недостоин дружеского благодеяния.»

Это сильная формула, дочь моя. Она перекладывает ответственность туда, куда следует: не на женщину, которая «ввела в искушение», а на мужчину, который не сумел справиться с собой и обиделся за это на неё. Санд не идеализирует дружбу; она

говорит о её условиях. Мужчина, не способный дружить без скрытого притязания, — не потерян для дружбы вообще; но для дружбы с тобой он не годится, пока не справится с собой. И когда справится — придёт другим. Тогда и говорите заново.

С другой стороны, Санд здесь говорит и о женщине — о той, кто «целомудренна и искренна». Целомудренна — не в узком и формальном смысле, а в смысле внутренней цельности: ты не кокетничаешь, не зовёшь, не разжигаешь то, чего не намерена поддерживать. Ибо — и это она знала по опыту — есть такое поведение: не дурное, не злонамеренное, но лёгкое и игривое, которое само по себе поддерживает в другом тот тлеющий огонь, который рано или поздно вырвется наружу и сожжёт то, что было дорого обоим.

« *L'amitié fidèle d'un homme mûr n'est pour nous souvent que la générosité d'une passion vaincue dans le passé.* »

«Верная дружба зрелого мужчины нередко для нас лишь великодушные страсти, побеждённой в прошлом.»

Это горькая, но честная мысль. Санд не говорит, что такая дружба плоха или что за ней скрывается что-то недостойное. Она говорит: знай это. Знай, что иногда то, что зовётся дружбой, есть победа над прежним чувством — и это победа честная, если за ней стоит настоящее уважение. Мужчина, который когда-то был влюблён и сумел превратить это в дружбу, — может быть, самый верный друг, какого ты найдёшь в жизни. Потому что он уже выбрал — и выбор этот стоил ему чего-то. Такие выборы не забываются и не случаются без внутренней работы.

Но дружба, выросшая из побеждённой страсти, требует от обеих сторон деликатности. Она не выдерживает, когда её терпят, напоминают о прошлом, допытываются до «что было на самом деле». У неё есть свои негласные правила, свои молчания, которые обе стороны соблюдают не из трусости, а из уважения к тому, что было построено непросто. Нарушить эти молчания — значит разрушить всё.

Я добавлю от себя, как мужчина: этот разговор не бывает лишним. Мы, мужчины, не всегда признаём сами себе, что в нас тлеет. Иногда нас нужно остановить не словом, а отношением — именно тем, что Санд называет «женщиной искренней». Ты защищаешь не только себя; ты защищаешь и его — от ситуации, в которой потом никому не будет хорошо. Это не жестокость и не холодность; это, если угодно, форма уважения к нему: ты не позволяешь ему заблуждаться.

Дочь моя, дружи с мужчинами — они бывают преданными друзьями, тонкими собеседниками, надёжными опорами. Иногда они понимают тебя так, как не поняла бы ни одна подруга, — по-другому, из другого угла, с другим запасом опыта. Дружба между мужчиной и женщиной, когда она настоящая, — это особый вид близости: в ней нет той влажной нежности, которая бывает между подругами, но есть что-то устойчивое, как хороший стол. На него можно опереться, и он не сдвинется. Но сначала реши сама с собой, что это такое. И не лги себе. Если в этой дружбе есть что-то, что ты не решаешься назвать вслух даже наедине с собой, — уже это «что-то» требует внимания. Не бояться этого знания — значит уже быть честной. А честность здесь — единственное, что защищает и тебя, и его, и дружбу между

вами от того тлеющего огня, который вспыхивает всегда неожиданно и всегда — слишком поздно.

• • •

Глава V.28

Учители зрелости

Говорят, что учителя нужны в детстве. Что именно тогда — в школе, в монастыре, за партой — формируется человек, и что после двадцати лет уже не учатся, а только применяют нажитое. Я думаю, что это одно из самых опасных заблуждений, которые молодость охотно принимает на веру, — потому что оно так удобно: если формирование уже завершено, то незачем меняться и незачем искать того, кто поможет тебе измениться.

Санд знала, что это неправда. Она сама стала учиться — по-настоящему — только когда вышла из детства. Те, кого она называла своими настоящими учителями, пришли к ней поздно — в годы парижской молодости, в годы зрелости, в годы тех самых бурь, о которых так много написано. Это были люди старше её, часто намного старше, — и она искала их не по репутации, не по положению, а по голосу. По тому, как звучало в ней то, что они говорили. Один голос отзывается — другой нет. И этот отклик невозможно сыграть или придумать.

« Leibnitz d'abord, et puis Lamennais, et puis Lessing, et puis Herder [expliqué par Quinet], et puis Pierre Leroux, [et puis Jean Reynaud, et puis Leibnitz encore], voilà les principaux repères qui m'ont empêchée de trop flotter dans ma route. »

«Сначала Лейбниц, затем Ламенне, затем Лессинг, затем Гердер [объяснённый Кине], затем Пьер Леру, [затем Жан Рейно, и снова Лейбниц], — вот главные вехи, которые не давали мне слишком блуждать на моём пути.»

Замечательно здесь то, как она это говорит: «не давали слишком блуждать». Не «открыли мне истину», не «дали ответы», не «привели к спасению», а — удержали от чрезмерного блуждания. Настоящий учитель и действует именно так: он не ведёт тебя за руку от одного готового ответа к другому; он стоит как веха на дороге и говорит: здесь ты отклонилась слишком далеко, вернись и подумай снова. Он не даёт тебе правил — он помогает тебе слышать собственный голос среди чужого шума.

Ламенне — бывший священник, к зрелым своим годам разошедшийся с церковью и горевший тем, что церковь забыла о бедных, — стал для неё учителем не потому, что был знаменит или облечён церковным авторитетом, а потому, что в его голосе была боль, которая была и в ней самой. Когда голос учителя совпадает с болью ученика — учёба происходит сама, без усилий и без принуждения. Это не подражание и не послушание; это — узнавание. Ты узнаёшь в нём что-то, что уже было в тебе, но не имело имени.

Её главный философский учитель — социалист-мистик, Леру — пришёл к ней в зрелые годы, когда она уже не была молодой восторженной девицей, а женщиной, которой требовалось не

вдохновение, а основание. Не огонь, а фундамент. Он дал ей не веру — веру она нашла сама, — он дал ей язык для того, во что она и без того верила, но не умела произнести с необходимой ясностью. Это, впрочем, и есть особая роль учителя: дать человеку слова для его собственной правды. Это одно из самых больших даров, какие один человек может преподнести другому.

« *La grâce m'est venue comme elle vient à tous les hommes, par l'enseignement mutuel de la vérité.* »

«Благодать пришла ко мне, как она приходит ко всем людям, — через взаимное научение истине.»

Взаимное научение. Не «учитель учит, ученик учится» — а взаимное. Санд никогда не считала себя просто сосудом, куда переливают мудрость. Она всегда была собеседником, который возражает, уточняет, отвергает часть и принимает другую, который приносит в этот разговор собственный опыт и собственные вопросы. Именно такое отношение к учителю делает учёбу настоящей — а не простым усвоением чужого, не питанием с чужой руки.

Между тем есть особый вид учителей, о котором редко говорят и который почти никогда не называется этим именем, — учитель, который сам этого не знает. Крестьянин-сосед, который прожил жизнь без книг, но с таким достоинством, что ты невольно выпрямляешься рядом с ним. Старый мастер, который делает своё дело так, будто в этом деле и есть весь смысл жизни, — и оказывается, что так оно и есть. Для Санд такими учителями были люди Ноана, берриские крестьяне, которых она знала с детства и которые учили её не словами, а тем, как живут и как умирают, — спокойно, без жалоб и без самолюбования.

« Il est rare que les âmes portées à ce sentiment ne deviennent pas dignes de l'inspirer à leur tour. »

«Редко бывает, чтобы души, расположенные к этому чувству, не становились сами достойными его внушать.»

Это сказано о человеке, который всю жизнь умел учиться у других, — и сам стал учителем именно потому, что умел учиться. Вот парадокс: те, кто принимают учителей с покорностью и готовностью, не требуя взамен ни орденов, ни завещаний, ни вечной признательности, — сами потом становятся теми, за чьим голосом тянутся другие. Это закон внутренней жизни, и он столь же неотвратим, как закон притяжения.

Не жди, что учитель придёт в назначенный час с готовым уроком. Он приходит иначе — ты вдруг слышишь что-то сказанное в разговоре за столом, или читаешь письмо, или встречаешь незнакомого старика в дороге, и что-то в тебе отзывается так, будто ты знала это всегда, но не умела произнести. Вот это и есть настоящая встреча с учителем. Она не нуждается в звании и в кафедре. Иногда она происходит в двух словах, сказанных мимоходом, — и остаётся с тобой на всю жизнь.

Я добавлю от себя: важно и другое — уметь отпустить учителя, когда его урок усвоен. Санд не оставалась в плену ни у одного из своих учителей, как бы ни почитала их. Она брала то, что было ей нужно, и шла дальше. Это не неблагодарность — это зрелость. Учитель, которому ты нужна как вечная ученица, не освобождает тебя: он держит. Настоящий учитель рад, когда ты уходишь дальше него.

Дочь моя, не ищи учителей по репутации — ищи по голосу. Если слова человека будят в тебе что-то, что спало, — слушай его. Если его мысль приходит к тебе после разговора, и ты возвращаешься к ней не потому, что так надо, а потому, что не можешь не вернуться, — вот это и есть твой учитель. Возраст его, титул и сословие не имеют никакого значения. Иногда это будет священник, иногда философ, иногда крестьянин-сосед. Слушай голос — и не спрашивай, откуда он.

И ещё одно: настоящий учитель никогда не называет себя учителем. Он просто живёт и думает вслух — а ты, если готова, слышишь. Этой готовности нельзя добиться усилием; она приходит тогда, когда ты уже достаточно прожила и достаточно устала от собственных заблуждений, чтобы быть готовой услышать что-то иное. Вот почему настоящие учителя зрелости, как говорила Санд, приходят после двадцати пяти — а не раньше. Раньше мы ещё думаем, что знаем сами.

• • •

Глава V.29

Народ и простые люди

Есть слово, которое произносят часто и которое почти никогда не несёт того, что должно нести. Слово «народ». В молодости оно звучит пышно и немного отвлечённо, как в политических речах; в зрелости, если ты жила рядом с теми, кого им называют, — оно становится конкретным и тёплым, как запах чёрного хлеба или

дымящегося навоза, и в этой конкретности больше достоинства, чем во всех пышных речах вместе взятых.

Санд выросла в Ноане — в поместье посреди берриских полей. Она знала крестьян с детства: знала по именам, по запахам, по голосам, по тому, как они косят и как они поют на праздник, как они молчат на похоронах и как смеются на свадьбах. И это знание с годами переросло в нечто большее, чем просто привязанность к родному месту или ностальгия по детству. Оно стало убеждением — тем самым видом убеждения, который не нуждается в аргументах, потому что вырос не из книг, а из жизни.

Убеждением в том, что аристократизм — это не кровь и не родословная. Что порода души рождается не в замках и не в коллежах, а в самом человеке, — и встречается она так же часто среди крестьян и ремесленников, как среди образованных, а то и чаще, потому что не задавлена ложными приличиями и не истрачена на поддержание репутации.

| « *Dis-moi qui tu aimes, et je te dirai qui tu es.* »

«Скажи мне, кого ты любишь, — и я скажу тебе, кто ты.»

Это сказано о другом, но прямо ложится сюда. Кого ты умеешь любить, кому умеешь поклониться внутренне — тем ты и мерена. Санд кланялась крестьянам Ноана не из политической убеждённости и не из желания казаться демократкой, — а из признания: в них она видела что-то, что нередко отсутствует у людей с дипломами и гербами. Достоинство без позы. Труд без жалоб. Привязанность без корысти. Умение жить — не красиво, но настоящим образом.

Среди людей, которых она называла своими друзьями, был поэт-каменщик, рабочий, писавший стихи и прозу с такой чистотой слога, которой позавидовал бы иной академик. Для неё это было не диковиной, не курьёзом, не поводом для снисходительного восхищения. Это было подтверждением: дар не спрашивает сословия. Он просто живёт в том, в кого вложен, — и если вложен в человека без школы, то тем более требует от образованного подставить плечо: не чтобы опекать и поучать, а чтобы помочь этому дару найти дорогу, которую без такой помощи он, может быть, не найдёт.

«*J'aime à me rappeler la touchante amitié d'Agricol
Perdiguier, le noble artisan.*»

«Мне отрадно вспоминать трогательную дружбу с Агриколом Пердигье — благородным ремесленником.»

Благородный ремесленник. Она не говорит «несмотря на то что ремесленник» — она говорит «благородный ремесленник», как сказала бы «благородный герцог», если бы герцог того заслуживал. Для неё это не контраст, требующий объяснений, а просто описание человека. Благородство — его качество; ремесло — его занятие. Первое никак не умаляется вторым, и второе никак не противоречит первому. Вот чего не умела её эпоха — и чему она учила свою эпоху, хотела того или нет.

Между тем Санд понимала и другое: само по себе происходить из народа — ещё не добродетель, и простое происхождение — не патент на мудрость. Она не идеализировала бедность и не считала страдание очищающим само по себе — это было бы лицемерием, которое она не терпела ни в себе, ни в других. Она видела среди крестьян и грубость, и зависть, и мелочность — всё то, что есть в

людях везде и всегда. Но она видела и другое: что человек, привыкший добывать хлеб своими руками, не теряет связи с чем-то исконным в жизни — с тем, что книжные люди иногда теряют за многолетним сидением над чужими мыслями.

« *Toutes les existences sont solidaires les unes des autres, et tout être humain qui présenterait la sienne isolément... n'offrirait qu'une énigme à débrouiller.* »

«Все существования солидарны друг с другом, и всякий человек, который представил бы своё в отрыве от других, дал бы только загадку, которую остаётся разгадывать.»

Это её фраза о чём-то другом — о природе человеческой памяти, о том, как мы вписаны в цепь предшественников. Но она прямо ложится и сюда. Человек образованный, человек пишущий или думающий, — если он отрывается от солидарности с теми, кто рядом и кто проще, — начинает жить в загадке, которую сам же и создал. Его мысли становятся всё более изощёрнёнными и всё менее живыми. Санд боялась этого в себе — и потому возвращалась в Ноан, садила огород, разговаривала с соседями, слушала рассказы о погоде и урожае — и чувствовала, как это возвращение питает её письмо куда вернее, чем парижские литературные собрания.

Я добавлю от себя: самомнение образованного человека — тонкая болезнь. Она выражается не в грубости к простым людям, а в невидении их. В том, что смотришь сквозь них, как сквозь стекло, не замечая, что за стеклом — живые. Не думаешь спросить, что они думают. Не ожидаешь услышать от них ничего важного. Санд умела видеть. Это умение не даётся само; оно даётся тому, кто хочет видеть — и кто достаточно смирен, чтобы допустить, что человек без грамоты и без библиотеки может знать что-то, чего не

знает он.

Дочь моя, не думай, что образование тебя возвышает над теми, у кого его нет. Оно тебя обязывает — обязывает отдавать то, что получила, тем, кому оно не досталось. Тот, кто несёт дар без школы, ждёт не твоего восхищения и не твоей жалости. Он ждёт равного разговора. Если ты способна на такой разговор — ты и есть та самая аристократка духа, о которой говорила Санд. Только порода эта не в крови и не в родословной — она в том, как ты смотришь на человека напротив, независимо от того, в каком платье он одет.

Умение смотреть на равных — это не политическая добродетель и не демонстрация убеждений. Это внутренняя работа, которая никому, кроме тебя, не видна. Санд делала эту работу всю жизнь — и Ноан был её итогом: место, где за одним столом сидели художники и крестьяне, философы и актёры труппы, столичные гости и берриские соседи. Это не случайное смешение — это была её идея дома. Дом, в котором человек ценится за то, кто он, а не за то, откуда он.

• • •

Глава V.30

Мужское платье и свобода

Позволь мне рассказать тебе одну вещь, которую очень легко понять неправильно. Её часто понимают неправильно — решают, что речь идёт о вызове, о скандале, о желании привлечь внимание

или переступить через общественные правила ради самого переступания. Но на самом деле речь идёт о воздухе.

Когда молодая женщина приехала в Париж в годы своей первой самостоятельности и обнаружила, что не может никуда пойти, — это слово «никуда» нужно понимать буквально. Нельзя было пройти пешком из одного конца города в другой, не испортив платья в грязи мостовой и не привлёкши неприятного внимания одинокой женщине. Нельзя было зайти одной в редакцию, в театр на галёрку, в книжную лавку — без сопровождающего мужчины, без расходов на экипаж, без многих мелких унижений, о которых богатые женщины могли не знать, а небогатые — знали на каждом шагу. Дамское платье того времени — это была клетка. Красивая, изящная, сшитая по всем правилам приличия — клетка. Невозможно было в нём работать, спешить, быть равным среди равных.

Санд надела мужской сюртук, панталоны и сапоги. Не потому, что хотела быть мужчиной. Не потому, что объявляла войну приличиям. Не потому, что ей нравился скандал — скандал она, надо сказать, переносила с трудом и никогда не искала его нарочно. А потому, что только так можно было ходить по Парижу — легко и быстро, как того требовала работа. Только так можно было зайти в редакцию и попасть в контору, где принимают статьи. Только так можно было сесть в театре на галёрку за двадцать су и видеть сцену — не потому, что туда пускали женщин в мужском платье, а потому, что никто не замечал, кто это.

« *Que ne puis-je faire de toi un bussard pendant quelque temps, afin que tu voies combien il est facile de l'être, et quel fonds d'insouciance pour soi-même est attaché à cet habit-là.* »

«Вот бы мне сделать тебя гусаром на некоторое время, чтобы ты увидела, как легко им быть, и какие запасы беспечности к себе самому связаны с этим мундиром.»

Это написано не ею — это письмо её отца к её бабушке, из военных лет, из молодости, задолго до её рождения. Но слова эти точно описывают то, что она потом обнаружила на собственном опыте: в мужском платье есть особая беспечность — беспечность человека, которого не разглядывают на улице, которому никто не мешает идти, которого не задерживают на пороге, не окликают сзади. Это не превосходство. Это просто — возможность дышать. Возможность существовать в городе как существует в нём работающий человек, а не украшение.

Между тем она сама писала об этом без торжества и без манифестов. Никакого «вот я и освободилась», никакого призыва к другим женщинам следовать её примеру. Просто:

« *Je suis en garçon depuis que je suis à Paris ; j'y trouve bien des avantages...* »

«Я одеваюсь мальчиком с тех пор, как я в Париже; это имеет немало преимуществ...»

Вот и всё. «Немало преимуществ». Не революция. Не протест. Практическая необходимость и спокойная за ней констатация. Она нашла способ делать своё дело — и пользовалась им, не требуя от других ни восхищения, ни понимания.

Разумеется, это вызвало скандал. Разумеется, газеты писали. Разумеется, общество ужасалось. Но не потому, что поступок был по сути своей ужасающим, — а потому, что общество устроено так: оно видит форму прежде содержания. Форма была непривычной; содержание было простейшим — женщина хочет работать и ходить туда, куда нужно для работы. Содержание же никто не хотел рассматривать — это было бы слишком просто и слишком неудобно.

| « *La forme emporterait le fond.* »

«Форма унесёт содержание.»

Это её формула для искусства — но она применима везде и всегда. Стоит внешней форме стать важнее того, зачем она взята, — и содержание исчезает. Свобода, превратившаяся в позу, уже не свобода. Мужское платье, надетое ради того, чтобы о тебе говорили, — уже не ухищрение ради дела, а украшение ради зрителей. Разница принципиальная, и Санд её чувствовала.

Я хочу, чтобы ты поняла это различие, дочь моя. Потому что в твоей жизни тоже будут моменты, когда тебе понадобится какая-то внешняя свобода — не для скандала, не для вызова, а просто чтобы дышать. Чтобы делать своё дело без помех. Чтобы войти туда, куда иначе не войдёшь. И в такие моменты нужно уметь взять её спокойно, без торжества, без объяснений тем, кто не поймёт всё равно. Санд надевала свой сюртук и шла по своим делам. Она не останавливалась объяснять прохожим, почему это правильно, — некогда было, да и незачем.

Санд носила мужское платье, пока это ей было нужно для работы. Были годы, когда это было необходимостью; были годы,

когда это было уже привычкой — и потом она от этой привычки спокойно отказалась. Никаких манифестов в ту или иную сторону. Просто: нужно было — носила; перестало быть нужным — перестала. Вот урок сам по себе: не привязывайся к форме внешней свободы так, чтобы она превратилась в обязанность. Свобода, которую нужно постоянно демонстрировать, чтобы она существовала, — не свобода.

Потом, в зрелости, когда имя уже открывало все двери, она снова ходила в обычном. Потому что ей уже не нужно было это маленькое ухищрение: она добилась того, что её и так пускали всюду — не за платье, а за имя и труд. Внешняя свобода помогла ей дорости до той, которую не отнять. Это её история — и в ней есть урок не о платье, а о том, что средства должны соответствовать цели, а не цель — средствам.

Дочь моя, бери внешнюю свободу, когда она тебе нужна — просто, спокойно, без объяснений. Но знай, зачем ты её берёшь. Если ради дела — хорошо. Если ради дыхания — хорошо. Но если ради того, чтобы на тебя смотрели, — остановись и спроси себя: а что останется, когда перестанут смотреть? И есть ли за этой формой то содержание, ради которого стоит всё это затевать?

• • •

Глава V.31

Свет, сплетни, клевета

Дочь моя, я хочу сказать тебе о вещи, которую прожила на протяжении всей взрослой жизни, — и которую не всегда умела переносить хорошо, хотя со временем научилась. Может быть, это самое трудное из того, что мне предстоит тебе сказать в этой части, — труднее, чем о дружбе, труднее, чем о свободе, — потому что говорить об этом значит говорить о том, как оставаться собой, когда внешний мир решил тебя переделать по своему образцу. Я хочу сказать о клевете.

Когда ты выходишь в мир с чем-то своим — с работой, с мнением, с образом жизни, который отличается от привычного большинству, — мир начинает говорить. Это неизбежно, и это не всегда злой умысел: это просто природа толпы, которой нужно что-то обсуждать, и женщина, живущая не так, как все, — всегда благодарный материал. О Санд говорили всё, что только можно было придумать. О её связях — настоящих и выдуманных. О её платье. О её политических взглядах, менявшихся с годами. О её детях. О её деньгах. Газеты её бранили; памфлеты её высмеивали; знакомые пересказывали друг другу то, чего никогда не было. Кто-то из самолюбия, кто-то из зависти, кто-то просто потому, что это было весело — говорить о Санд.

Она почти никогда не отвечала.

И это «почти никогда» — не случайность и не трусость. Это была позиция, выработанная годами и выстраданная опытом. Она понимала то, чего молодость часто не понимает: клевета, которой отвечают, оживает. Клевета питается вниманием. Пока ты споришь с ней, объясняешь, опровергаешь — она растёт. Ей нужны твои слова как дрова: ты подбрасываешь — она горит. Лишённая их, она гаснет сама — не сразу, не в один день, но

неотвратно. Потому что клевета живёт в речи, и молчание есть её смерть.

« *Je ne trouve ni délicat, ni convenable, ni honnête... d'accuser mon mari de torts dont j'ai absolument cessé de me plaindre depuis que j'ai reconquis mon indépendance.* »

«Я не нахожу ни деликатным, ни приличным, ни честным — обвинять мужа в проступках, на которые я совершенно перестала жаловаться с тех пор, как вернула себе независимость.»

Это она написала о судебном деле, о раздельном проживании — но принцип тот же. Объяснять и оправдываться за счёт другого, пусть даже этот другой и виноват, — недостойно. Свобода, оплаченная злословием, — это уже не свобода, а другая форма привязанности к тому, от кого ты ушла. Молчание здесь — не слабость и не уступка; это форма уважения к собственному достоинству. Ты не опускаешься до перебранки не потому, что боишься её проиграть, а потому, что эта перебранка ниже тебя.

Между тем репутация делается не словами. Репутация делается жизнью.

Это самое важное, что я хочу тебе сказать об этом предмете — и, пожалуй, самое трудное для усвоения, потому что молодость инстинктивно хочет защищаться словами, объяснять, убеждать. Не слова строят тебя в глазах людей — жизнь строит. Как ты работаешь. Как держишь данное слово. Как ведёшь себя с теми, кто слабее и зависимее тебя — с прислугой, с соседом, с человеком, которому от тебя уже ничего не нужно. Как ты ведёшь себя в неудаче — потому что в успехе всякий умеет держаться прилично. Всё это медленно, год за годом, складывается в нечто,

что никакая клевета не разрушит, — именно потому, что всякий, кто тебя знает, знает её ложность по собственному опыту.

« *Dans ce calme de la pensée et dans cette résignation du sentiment, je ne saurais avoir d'amertume contre le genre humain qui se trompe.* »

«В этом покое мысли и в этом смирении чувства я не могу иметь горечи к роду человеческому, который ошибается.»

Горечи к роду человеческому. Она могла бы её иметь — по всем правам и по всей справедливости. Она прожила жизнь, в которую вмешивались все, кому не лень. Её осуждали за то, что ушла от мужа. За то, что любила — и за то, с кем любила. За то, что писала. За то, что переодевалась. За то, что в революционные годы говорила то, что думала. За то, что потом замолчала. Всё это — материал для горечи, и она бы имела право на эту горечь. Но она выбрала иное: покой мысли и смирение чувства. Не безразличие — а именно смирение, то есть принятие без злобы.

« *Oui, croyez-moi, le cœur est assez large pour loger beaucoup d'affections, et plus vous en donnerez de sincères et de dévouées, plus vous le sentirez grandir en force et en chaleur.* »

«Да, верьте мне, сердце достаточно широко, чтобы вместить много привязанностей, и чем больше вы будете отдавать искренних и преданных, тем сильнее будете чувствовать, как оно растёт в силе и тепле.»

Это её ответ на клевету — не словами, а жизнью. Не «я буду доказывать свою правоту», а «я буду продолжать любить — и в этом моя защита». Сердце, отдающее — растёт. Сердце, защищающееся — сжимается. Это не мистика и не утешение для

слабых; это наблюдение человека, который жил долго и видел много.

Я добавлю от себя: есть люди, которые отвечают на клевету именно так — не молчанием-уступкой, а ровным, спокойным продолжением своего дела. Это не высокомерие и не равнодушие; это — вера в то, что время расставит всё по своим местам. Такая вера требует мужества особого рода. Трудно не защищаться, когда тебя обвиняют несправедливо. Трудно не поднимать голоса, когда голос поднят против тебя. Трудно смотреть, как кто-то верит клевете, зная, что правда — другая. Но именно этого требует достоинство — не потому, что противник того стоит, а потому, что ты сама стоишь большего, чем перебранка.

Санд дожила до того, что её жизнь сама опровергла большую часть сказанного о ней. Не слова — жизнь. Ноан, открытый для всех, кому нужен кров и стол. Труд неустанный — почти до последнего дня. Дружбы долгие — не на сезон, а на десятилетия. Соседи, которые помнили её не как «скандальную писательницу», а как человека, который пришёл когда надо и не пришёл, когда был не нужен. Всё это было видно тем, кто хотел видеть. А те, кто не хотел, — не увидели бы и никакого опровержения.

Дочь моя, когда о тебе будут говорить дурно — а будут, если ты живёшь заметно и думаешь самостоятельно, — не торопись отвечать. Дай пройти некоторому времени. Спроси себя: разрушит ли эта клевета что-нибудь важное в моей жизни, или только задета моя гордость? Если второе — промолчи и продолжай своё дело. Если первое — действуй, но действуй с достоинством, без злобы и без торопливости.

Санд знала: есть вещи, которые время просто закрывает без всякого твоего участия. Годы идут, жизнь продолжается, ты работаешь и любишь — и люди видят это. Постепенно от клеветы не остаётся ничего, потому что она не находит подтверждения в действительности тех, кто знает тебя вблизи. И в итоге — не слова, а жизнь оказывается более красноречивым свидетелем, чем любое опровержение. Потому что репутация, которую стоит беречь, делается не ответами на наветы, а тем, как ты живёшь каждый день, когда никто не смотрит. Клевета умирает без воздуха; жизнь — никогда.

Цитаты приведены по изданию: George Sand. Histoire de ma vie. Paris: Victor Lecou, 1854–1855 (электронный текст — Project Gutenberg, eBooks № 39101, 41322, 42765). Переводы — авторские, выполнены для настоящей книги.

ЧАСТЬ VI

ИТОГ

к чему она пришла



Глава VI.32

Бог без церкви

Есть вещи, о которых зрелая женщина говорит дочери с особенной осторожностью, — не потому что тема слишком тонка или слишком опасна, а потому что она слишком важна, чтобы испортить её первым же словом. Вопрос о Боге — такая вещь. Скажешь «церковь» — и замкнёшься в догме; скажешь «свобода совести» — и сорвёшься в пустоту. Между этими двумя крайностями прошла вся её жизнь, и к концу пути она нашла нечто третье — то, что нельзя предписать, но можно передать.

Она не была ни убеждённой атеисткой, ни усердной прихожанкой. Она была — и это её собственное слово — верующей. Но вера её никогда не совпадала с тем, чему учила церковь. Она знала это с детства: мать молилась на коленях каждый вечер, никогда не ходила к исповеди, не всегда соблюдала посты, — и когда бабушка-аристократка спрашивала, как та может верить наполовину, мать отвечала просто: «J'ai ma religion, de celle qui est prescrite, j'en prends et j'en laisse» — «У меня своя вера: из предписанного я беру то, что мне подходит, а остальное оставляю». Этот ответ, произнесённый полусмущённо, полугордо, — может быть, лучшее из всего, что мать передала ей в наследство.

« J'aime Dieu d'un cœur sincère, je le crois trop bon pour nous punir dans l'autre vie. Nous sommes bien assez châtiés de nos sottises dans celle-ci. »

«Я люблю Бога искренним сердцем; я думаю, что Он слишком добр, чтобы карать нас в другой жизни. Здесь нас достаточно наказывают наши собственные глупости.»

Вот — мать, вот — урок. Санд взяла его и понесла дальше. В монастырские годы она переживала что-то более острое, почти экстатическое, — пока добрый исповедник, человек умный и без фанатизма, не остановил её: «Более она пылка, тем опаснее. Я требую, чтобы вы жили полно и свободно — и телом, и духом». Она тогда поняла, что набожность — это не подвиг воздержания, не нагнетание сумрака и не изнурение плоти. Набожность — это, скорее, устойчивый свет внутри, которому надо уметь не мешать.

Но откуда этот свет? Она думала об этом долго — через Жан-Жака, через Лейбница, которого перечитывала с карандашом в руке, через разговоры с социалистом-мистиком Пьером Леру, которого слушала с восхищением и без слепого согласия. И пришла к тому, о чём написала с такой точностью, что хочется перечитывать:

« J'ai cherché jadis la lumière dans des faits de psychologie, dans les révélations des livres saints, dans les traditions religieuses de tous les peuples. Je n'ai su la trouver et la garder qu'au fond de moi-même. »

«Прежде я искала свет в фактах психологии, в откровениях священных книг, в религиозных преданиях всех народов. Найти его и удержать мне удалось лишь в глубине самой себя.»

«Во мне» — вот ключевые слова. Не «от меня», не «изобретённый мной» — именно «во мне, но не от меня». Она не присваивала себе этот свет, не гордилась им как личным открытием. Она описывала то, что замечала в себе как нечто данное, как голос, который раздаётся независимо от того, слушаешь ты или нет. Когда она не слушала — было хуже. Когда слушала — становилось легче. В этом и состояла её вера.

Что же это за свет? Она не прибегала к сложным доказательствам. Простые истины: не лги; не убивай; не используй другого человека как вещь; не будь безразлична к страданию; не подменяй любовь к Богу ненавистью к его творениям. Она замечала, что эти истины не нуждались в подкреплении ни одним авторитетом — ни Священным писанием, ни философским трактатом. Они возникали сами, когда душа была достаточно тиха, чтобы их слышать.

И оттого ей были чужды те, кто воевал против религии с теми же страстью и нетерпимостью, с какими другие воевали за неё. Атеизм, построенный на ненависти к Богу, казался ей так же нелеп, как благочестие, построенное на страхе перед Ним. Потому что в обоих случаях — суета, а не тишина. А свет приходит только в тишине.

Я добавлю от себя вот что: нам, мужчинам, особенно трудно с этим примириться. Мы привыкли либо к системе, либо к отрицанию. Вера без обряда, без иерархии, без кодекса — кажется нам зыбкой. Но именно эта зыбкость и есть её честность. Она не обещала тебе твёрдой почвы — она говорила тебе только, что внутри тебя живёт инстанция, к которой можно обратиться и которая не обманет, если обращаешься без хитрости.

« Je sens que quand j'anéantis en moi la personnalité qui aspire aux joies terrestres, la joie céleste me pénètre et que la confiance absolue, délicieuse, inonde mon cœur d'un bien-être impossible à décrire. »

«Я чувствую, что когда я подавляю в себе ту часть, что жаждет земных радостей, меня пронизывает небесная радость, и абсолютное, упоительное доверие затопляет моё сердце неизъяснимым благополучием.»

Это не отречение от жизни. Это — умение ненадолго отступить от себя и услышать что-то большее. В это Санд верила всю жизнь, независимо от того, стояла ли она перед алтарём или сидела за рукописью в Ноане.

Здесь стоит ненадолго остановиться на том, что она имела в виду под «простыми истинами». Она никогда не излагала их в виде кодекса, в виде нумерованного списка заповедей. Она говорила о них как о вещах, которые знаешь прежде, чем тебя научили знать. Ребёнок, которому ещё не объяснили разницы между добром и злом, чувствует несправедливость — раньше слов и раньше категорий. Это чувство несправедливости, эта чуткость к чужой боли, это внутреннее сопротивление лжи — вот что она называла Богом в человеке. Не сверхъестественная сила, вмешивающаяся в события, а нечто укоренённое в самой природе души.

Она не была наивна в этом убеждении. Она видела, как люди, внешне набожные, нарушали все эти истины без смущения, а люди, отрицавшие церковь, жили по ним с редкой последовательностью. Это окончательно убедило её в том, что связь между институтом и верой необязательна. Церковь может

помочь — если она создаёт пространство для тишины и честности. Церковь может навредить — если она подменяет внутреннюю работу души внешним ритуалом. Выбор остаётся за человеком.

Она думала об этом не только как мыслитель, но и как человек, прошедший через реальные испытания веры. Юношеский монастырский экстаз, который она описывала с такой непосредственностью, был настоящим — но он прошёл, как проходит всё слишком острое. Что осталось — это нечто устойчивее и, пожалуй, глубже. Не восторг, а укоренённость. Не подъём, а постоянное негромкое присутствие того внутреннего света, который она описывала. Разница между восторгом и укоренённостью примерно та же, что между влюблённостью и любовью: первое бурно и ослепительно, второе — тихо и надёжно. Именно ко второму она пришла в своей вере — и именно об этом говорила с такой простотой, что её слова не требуют ни комментариев, ни богословских поправок.

Особенно поразительно вот что: она не войнала с верой всю жизнь. В юности — искала, в зрелости — нашла. И шла дорогой, которую можно назвать одним словом: честность. Не богословская честность — знать догмы наизусть; а внутренняя — не предавать себя свету, который внутри есть, даже если снаружи темно.

Дочь моя, не жди, когда церковь или книга скажут тебе, где Бог. Бог — это то, что в тебе распрямляется, когда ты живёшь честно. Это то, что в тебе сжимается, когда ты лжёшь. Вот и весь катехизис.

• • •

Глава VI.33

СНЫ И ТИХИЙ ГОЛОС

О снах она говорит вскользь, как будто стесняясь, — и всё же говорит. Это тоже характерно: Санд не была суеверной женщиной, она бы рассмеялась над гадалкой и погадальными книгами. Но тихий голос, который звучит, пока молчит дневная жизнь, она уважала и признавала.

Это особое внимание к сновидениям идёт у неё не от мистики, а от наблюдательности. Она заметила, что некоторые вещи о себе можно узнать только тогда, когда перестаёшь себя контролировать. Бодрствующий ум занят — объяснениями, опасениями, самооправданиями, суетой дел. А спящий — молчит, и тогда что-то иное начинает говорить.

В своих воспоминаниях она не строила теорий о снах — она просто отмечала, что некоторые сновидения открывали ей состояние её собственной души точнее, чем долгие рассуждения наяву. Не пророчества — нет, она была слишком трезва для этого. Не знамения, посылаемые свыше с особым умыслом. Просто — внутреннее знание, поднимающееся на поверхность в те немногие часы, когда дневной шум затихает.

« *Retrancher le merveilleux de la vie de l'enfant, c'est procéder contre les lois mêmes de la nature.* »

«Изъять чудесное из жизни ребёнка — значит действовать против самих законов природы.»

Она писала это о детях, но сказанное не теряет силы, если применить его к взрослым. Потому что в каждом из нас живёт — хотим мы этого или нет — тот слой, который думает образами, а не словами, движется по закону сходства, а не причинности, и существует по своим правилам, не сводимым ни к разуму, ни к привычке. Этот слой говорит во сне. Заглушить его совсем — значит обеднеть.

Она видела сны яркие и странные — и умела возвращаться к ним потом, не для толкования, а для узнавания: «Вот, оказывается, что меня тревожило. Вот, оказывается, чего я боялась. Вот что, пока я не давала себе признаться, копилось где-то в глубине». Сон как зеркало — не парадное, а кривое, но честное: оно показывает то, что не попадает в обычное отражение.

« L'imagination se remplit de ces objets ; l'enfant rêve dans le sommeil, et il rêve aussi sans doute quand il ne dort point. Du moins il ne sait pas, pendant longtemps, la différence de l'état de veille à l'état de sommeil. »

«Воображение наполняется этими образами; ребёнок видит сны во сне и, без сомнения, также и наяву. По крайней мере, долгое время он не знает разницы между состоянием бодрствования и состоянием сна.»

Когда мы взрослеем, мы учимся строго разделять эти два состояния — и правильно делаем, что учимся. Но ошибкой было бы начать считать ночное состояние чем-то несерьёзным, шумом, помехой, тем, что нужно перебороть крепким кофе и списком дел. Это состояние продолжает работать — хочешь ты того или нет, пока ты спишь. И работает над тем же самым, над чем работает вся твоя жизнь: над вопросом, кто ты и чего ты хочешь на самом деле.

Санд была, при всей своей практичности, женщиной, склонной к тому, что можно назвать внутренним прислушиванием. Она умела замолчать. Умела пустить паузу — между стихами, между любовями, между решениями. В Ноане были долгие вечера, долгие прогулки по тихим аллеям парка, часы одинокого сидения за столом, когда не пишется, а только думается — как думается, когда позволяешь себе не знать заранее, к чему придёшь. Это и был слух — не к снам только, но ко всему тихому слою, который днём заглушён.

Мне кажется, мужчины реже умеют это делать. Мы торопимся к действию, к решению, к ответу. Тишина нас тревожит. Когда не знаешь — хочется немедленно узнать, а когда не понимаешь — немедленно понять. Она же умела оставаться в состоянии «пока не знаю» — и ждала. И ждание давало плоды.

Внимание к снам — это только один вид этого умения. Его суть шире: научиться давать слово той части себя, которую голос рассудка заглушает. Она не пустая, эта часть. Она — старше. В ней много того, что ты узнала прежде, чем научилась это называть.

« *La véritable piété consiste dans l'amour de Dieu, mais dans un amour éclairé, dont l'ardeur soit accompagnée de lumière.* »

«Истинное благочестие состоит в любви к Богу, но в любви просвещённой, пыл которой сопровождается светом.»

Эти слова — Лейбниц в её пересказе — она применяла не только к вере, но и к познанию себя. «Свет, сопровождающий пыл» — вот формула той осознанной внутренней жизни, которую она отстаивала. И сны, и молчание, и долгие ночные размышления были для неё именно таким светом — не яростью откровения, а

тихим мерцанием, по которому можно найти дорогу.

И ещё одно: она говорила о снах без суеверия, но и без пренебрежения — а это редкое равновесие. Суеверие — это когда сон диктует тебе поступок: «мне приснилось то-то, значит, я должна сделать так-то». Пренебрежение — это когда говоришь себе «это просто случайная работа мозга» и не задерживаешься ни на минуту. Она предлагала третье: внимание без послушания. Посмотреть на сон как на письмо без подписи — и попробовать прочесть, что в нём написано, не торопясь исполнять и не торопясь выбрасывать.

В широком смысле это умение — читать письма без подписи — это и есть то, что она называла внутренней жизнью. Не мистика, не теория, а просто — привычка к тому, чтобы иногда поворачиваться внутрь, а не только наружу. Жизнь снаружи требует нас постоянно — делами, людьми, решениями, новостями, тревогами. Жизнь внутри требует тишины. И тишину надо уметь защищать.

Надо сказать и вот что: она не считала это умение естественным. Ей самой приходилось учиться молчать. В юности она была бурной и склонной заполнять все пространство вокруг собой словами, идеями, друзьями. Жизнь научила её иному: оставлять промежутки в разговоре, паузы в работе, часы одиночества — и в этом одиночестве находить не тоску, а тот самый тихий голос, который днём заглушён. Ты, может быть, и есть следующая глава — научиться его слышать.

Она говорила и о том, что этот тихий голос не всегда говорит приятно. Иногда — и это, пожалуй, самое ценное в нём — он говорит то, чего не хочешь слышать. Что ты устала, хотя

убеждаешь себя в обратном. Что ты боишься, хотя держишься уверенно. Что этот человек рядом с тобой причиняет тебе боль, хотя ты называешь это иначе. Рассудок умеет оправдать всё что угодно; тихий голос — нет. Именно поэтому его так часто заглушают: потому что слушать его неудобно. Но именно неудобная правда и есть та, что нужна тебе больше всего.

Дочь моя, не торопись всё объяснить и всё подвергнуть суду рассудка. Позволь себе иногда быть тем, кто не знает. Иногда самое умное, что ты можешь сделать, — выслушать то, что тебе снится. Не потому что сны пророчат, а потому что они помнят о тебе то, что ты предпочла не замечать.

. . .

Глава VI.34

Принять то, чего нельзя победить

Есть слова, которые легко произнести и почти невозможно исполнить. «Принятие» — одно из них. Говорить «я принимаю» в минуту благополучия нетрудно; совсем другое дело — в ту минуту, когда боль не отступает, а лишь привыкает к тебе, и ты — к ней.

Санд знала об этом не теоретически. Она знала об этом через усталость, через болезни близких, через горе матерей, чьи дети умерли и которые писали ей, не зная, куда писать. Одна такая женщина, потерявшая сына, написала ей письмо, которое она привела в своих воспоминаниях — не для красоты, а потому что

оно было правдивее многих её собственных страниц: «Je n'ai cherché que de la consolation dans les livres de prières. Je n'y ai rien trouvé qui me parle de ma situation» — «Я искала утешения в молитвенниках. Я не нашла в них ни слова, которое говорило бы о моём положении».

Вот что такое настоящая боль: она не вписывается ни в один молитвенник. Ещё одна вещь: читая это письмо, она сама утешала его автора — не призывая принять смерть неизбежной, а просто напоминая: бог не требует от нас благодарности за страдание. Страдание не подвиг, и нет нужды его претворять в таковой. Нужно просто пережить его и продолжать жить. Вот, пожалуй, самое человеческое из всего, что она умела дать. Она — своя, единственная, и советы, которые подходили бы всем, не подходят ей.

«*Quand on a accepté un mal incurable, on le supporte mieux.*

»

«Когда смиришься с неизлечимым злом, переносишь его легче.»

Это, пожалуй, самое трезвое из всего ею написанного. Без утешительной лжи, без обещания, что всё пройдёт, что всё будет хорошо, что терпение вознаградится. Только — факт: невыносимое в борьбе становится переносимым в принятии. Не потому что оно уменьшилось. А потому что ты перестала расходовать силы на сопротивление тому, что победить нельзя.

Это важное различие — и она его делает. Есть вещи, которые можно и нужно менять: несправедливость, бедность, ложь в отношениях, лень собственная. Тут борьба оправдана. Но есть

вещи, которые изменить нельзя: смерть, чужую природу, болезнь, утрату, само течение времени. И тут борьба — только трата сил, которые могли бы пойти на жизнь.

« Il ne faut donc point chercher l'absence de douleur, mais seulement la faculté de la supporter ; et cette faculté s'acquiert par la longue habitude de se soumettre à l'inévitable, sans pour cela perdre le goût du beau et du bon. »

«Стало быть, не стоит искать отсутствия боли — нужно лишь способность её переносить; а эта способность приобретается долгой привычкой подчиняться неизбежному, не утрачивая при этом вкуса к прекрасному и доброму.»

Последние слова важны не меньше первых: «не утрачивая вкуса к прекрасному и доброму». Принятие — это не капитуляция. Это не серая безжизненность, когда махнёшь на всё рукой. Это — нечто почти противоположное: умение продолжать замечать красоту именно тогда, когда больно. Продолжать находить радость в утреннем свете, в кружке чая, в разговоре с умным другом — даже пока что-то в тебе болит.

Санд думала о страдании не в абстрактных категориях, а конкретно и бытово: усталость, болезнь, утрата человека, которого любишь, боль от того, что близкие идут своим путём, не совпадающим с твоим. Всё это — не ошибки жизни. Всё это — её вещество. И зрелый человек отличается от молодого не тем, что у него меньше боли, а тем, что он выучился не разрушаться от неё.

Мне, как мужчине, особенно близко вот что: у нас принято считать, что стойкость — это когда не сгибаешься. Но Санд говорит о другой стойкости — когда умеешь согнуться, не

сломавшись. Когда позволяешь боли пройти сквозь тебя, а не строишь против неё крепостные стены из равнодушия или раздражения. Стены помогают ненадолго — а потом рушатся, и большее, чем если бы стен не было вовсе.

Есть странное и тихое чудо в принятии: то, что казалось невыносимым, становится частью тебя — не уродливой, а как шрам, который помнит о том, что было, но больше не кровоточит. Она это знала. И говорила об этом без торжества, без «вот я какова» — просто, как говорят о том, что проверено на собственной коже.

Боль — не наказание. Усталость — не поражение. Страх — не слабость. Они все — спутники, а не враги. И с ними, как с любимыми спутниками: иногда молчишь рядом; иногда злишься; иногда принимаешь.

Она говорила и о том, как принятие связано с временем. В остром горе принятие невозможно — и не надо к нему стремиться, это было бы фальшью. Острое горе требует, чтобы его пережили, а не поборов, — пережили честно, с криком или с молчанием, в зависимости от природы. Принятие приходит после — не тогда, когда решишь принять, а тогда, когда горе само осядет, утратит остроту и станет частью пейзажа, а не бурей. Этот срок у каждого свой, и никто не вправе назначать его другому.

Надо сказать прямо: принятие легко спутать с покорностью. Разница принципиальная. Покорность — это когда говоришь себе «я должна терпеть, потому что иначе нельзя» или «я заслужила это страдание». Принятие — это совсем другое: «это случилось, это часть моей жизни, и я продолжаю жить, не цепляясь за ненависть к тому, что случилось». Покорность смиряет человека с

несправедливостью и лишает его воли. Принятие освобождает его от войны с тем, что изменить нельзя, — и тем самым возвращает ему силы для того, что изменить возможно. Санд никогда не путала одно с другим, и это различие было для неё практически важным, а не только умственным.

Она сама ждала подолгу. Ждала, пока утихнут последствия болезненных расставаний. Ждала, пока то, что казалось предательством, — стало просто прошлым. Ждала, пока люди, причинившие ей боль, стали в её воспоминаниях не врагами, а просто людьми — со своими слабостями и своими страхами. Этот переход — из «он сломал мне жизнь» в «он жил, как умел, и я тоже» — не моральный подвиг. Это просто результат времени и честности.

Дитя моё, если тебе сейчас невыносимо — не требуй от себя немедленной победы. Не требуй от себя и безупречного принятия — это тоже не всегда возможно и не всегда нужно. Потребуй от себя только одного: продолжать замечать, что рядом с болью всё ещё существует что-то, что можно любить. Этого достаточно.

• • •

Глава VI.35

Искусство и форма, унесшая содержание

Однажды она написала о том, что писала чужую книгу, сделанную ради внешнего вида, — и в нескольких словах объяснила, чем это заканчивается. Предупреждение было не о литературе только.

Оно было обо всей жизни.

| « *La forme emporterait le fond.* »

«Форма унесла бы содержание.»

Это сказано применительно к стилю, к тому, что бывает, когда начинаешь думать не «что я хочу сказать», а «как это будет выглядеть». Когда важнее отделка, чем правда. Когда слово становится украшением, а не орудием. Она понимала, что это — смерть. Не художественная неудача, а именно смерть: исчезновение существа под слоем видимости.

В искусстве это очевидно. Писатель, который всё время думает о впечатлении, которое он производит, — перестаёт думать о том, что говорит. Картина, написанная «чтобы понравилось», — в ней нет художника, есть только зеркало чужих ожиданий. Музыка, исполненная напоказ, — блистательная и пустая, как парадный зал без людей. Санд наблюдала всё это вблизи, потому что жила в мире людей искусства, и понимала разницу между теми, кто делал дело, и теми, кто делал вид.

Она знала это из собственного опыта — опыта человека, который много лет провёл под прицелом публики. Когда пишешь роман, который будут читать сотни тысяч — невольно слышишь этот будущий читательский взгляд. Когда живёшь скандально и обсуждаемо — невольно начинаешь думать о том, что о тебе думают. Это давление; и немногие под ним не деформируются. Санд деформировалась, конечно, — она сама это признавала, говоря, что порой писала слишком много и слишком быстро, позволяя форме бежать вперёд смысла. Но она умела останавливаться и возвращаться к тому, что важно.

Но то же самое происходит с жизнью, если поставить форму выше содержания. Это тонкий соблазн — и особенно опасный, потому что начинается с маленькой заботы: как я выгляжу, что обо мне подумают, достаточно ли я произвела впечатление. Это не тщеславие в грубом смысле слова — нет, это гораздо тоньше. Это постепенное смещение интереса с «кто я» на «какой меня видят». И когда это смещение завершается, человека внутри почти не остаётся.

« *Il y a une série de femmes incomprises qui veulent entrer au théâtre.* »

«Существует целая вереница непонятых женщин, желающих на сцену.»

Она говорит это с лёгкой насмешкой — но не злой. Она сама была когда-то в числе тех, кто искал признания. Она знала этот голод. И она знала, чем он отличается от настоящего призвания: настоящее призвание хочет сделать что-то, ложное — хочет чем-то быть. Хочет образа, роли, взгляда из зала. А жизнь не зал — или, во всяком случае, не должна быть залом, если хочешь в ней остаться собой.

Она сама была знаменита. По-настоящему, так, что слава добежала до неё в тихий Ноан через эпистолярную почту: письма, просьбы, восхваления, клевета. Она видела, как слава работает: льстит, предъявляет счёт, требует поддерживать образ. И она отказалась. Не демонстративно — просто продолжала делать, что делала, носила удобное платье, сажала розы в огороде, принимала настоящих друзей и не принимала пустых визитёров. Имидж, который она носила в глазах Парижа, мало имел общего с тем, кем она была на самом деле. И она этим дорожила — этим

несовпадением. Оно давало ей свободу.

Не быть напоказ. Это не означает прятаться или быть нелюдистой, или пренебрегать своей внешностью, или не заботиться о том, что говоришь. Это означает иерархию: сначала — что говоришь, потом — как это звучит; сначала — что делаешь, потом — как это выглядит; сначала — кто ты, потом — кем тебя считают. Когда иерархия перевёртывается — форма уносит содержание.

Я, как мужчина, признаю: мы не меньше подвержены этому соблазну, просто он принимает у нас другое обличье. Не театральное платье — а статус, должность, умение казаться авторитетным. Суть та же: забываешь о существе, заботясь о виде. И потом удивляешься, отчего стало пусто.

Санд была, при всей своей громкой репутации, женщиной удивительно негромкой в частной жизни. Те, кто бывал в Ноане, описывали не блестящую знаменитость, а хозяйку дома, которая кормила людей, разговаривала просто, шила театральные костюмы для самодеятельных спектаклей с детьми и внуками, с увлечением собирала гербарий. Жизнь — а не представление о жизни. Содержание — а не форма.

« Le seul bonheur que Dieu nous ait accordé est de sentir qu'au milieu des accidens et des catastrophes de la vie commune, on est en possession de certaines joies intimes et pures qui sont bien l'idéal de celui qui les savoure. »

«Единственное счастье, которое Бог нам даровал, — это чувствовать, что среди случайностей и катастроф обычной жизни мы владеем некоторыми глубокими и чистыми радостями,

которые и есть идеал того, кто их вкушает.»

Радости тихие, внутренние, никому не показанные — именно их она считала настоящими. Потому что они существуют только тогда, когда ты сам с собой, и никакой зал тебе тут не нужен.

Это не означает равнодушие к красоте — ни к красоте речи, ни к красоте поступка, ни к красоте своего облика. Она была эстетом и ценила красоту во всём. Но разница в направлении усилия: красота, создаваемая ради того, чтобы её видели, — это украшение. Красота, создаваемая потому что иначе не можешь, — это искусство. Жизнь, прожитая ради виду, — это исполнение роли. Жизнь, прожитая в согласии с собой, — это и есть то единственное, что останется после тебя чем-то настоящим.

Её книга — свидетельство того, что она умела различать эти две вещи. Самые живые страницы «Истории моей жизни» — не те, где она блистательна, а те, где она честна. Где признаётся в слабости, в ошибке, в усталости, в том, что любила не тех, и делала не то, и платила за это. Именно эта честность и делает её книгу живой через полтора столетия. Форму ей дал талант; содержание — жизнь, не смещённая в сторону представления.

Дочь моя, стоит тебе заметить, что ты начинаешь следить не за тем, что говоришь, а за тем, как звучишь, — остановись. Это первый шаг к тому, что твоя жизнь станет представлением. А жизнь — слишком хороша, чтобы тратить её на роль.

• • •

К чему она пришла

Что значит прийти куда-нибудь? В молодости кажется, что «прийти» — значит достичь чего-то внешнего: признания, покоя, счастья, любви, которая уже не уйдёт. Прожив жизнь так, как она прожила, — Санд знала, что это не так. К концу своих записок она описывает приход к чему-то иному, гораздо менее эффектному и гораздо более прочному.

Молодость любит страстно — и это прекрасно, потому что страсть открывает, обжигает, учит. Но зрелость любит иначе: не с меньшей силой, а с большей верностью. Страсть горит быстро и жарко; верность горит долго и ровно. Страсть говорит «я не могу без тебя прямо сейчас»; верность говорит «я буду с тобой, даже когда это трудно». Она не противопоставляла одно другому — она видела, как одно перетекает в другое, если хватает терпения и честности.

В молодости она хотела свободы — и правильно хотела. Эта свобода стоила ей дорого: разрыв с мужем был болезненным и не чистым в правовом смысле, потому что «развода» как такового в её эпоху не существовало, только раздельное проживание; уход из общества, поездки, мужская одежда, скандальная репутация. Всё это она приняла как цену за то, чтобы жить собственной жизнью, а не назначенной. Но к середине своих лет она поняла, что свобода — это не конечная цель. Свобода — это пространство, в котором живёт нечто более важное: достоинство.

Достоинство не то, что тебе дают. Не то, что у тебя отнимают. Это то, как ты держишь себя внутри — по отношению к боли, к соблазну, к потере. Свобода, не наполненная достоинством, —

только вседозволенность. Достоинство, не опирающееся на свободу, — только гордость. Вместе они дают что-то третье: способность жить так, чтобы не стыдиться ни перед собой, ни перед теми, кого любишь.

Она верила, что свобода и достоинство нераздельны. Свобода без достоинства — это вседозволенность: делать что хочешь без объяснений, без ответственности, без думы о том, как это влияет на других. Достоинство без свободы — это тюрьма: соблюдать правила не по убеждению, а из страха. Только вместе они дают то, что она называла подлинной жизнью.

В молодости она поклонялась идеалу — в любви, в искусстве, в политике. Она верила в совершенную любовь, в справедливое общество, в человека, способного стать лучше. И хотя жизнь побила её убеждения не раз и не два, она не отреклась от них. Она только пересадила их из почвы мечты в почву труда. Идеал, который живёт в голове, — красив, но хрупок. Идеал, который воплощается в ежедневной работе, — прочен, потому что он уже не мечта, а дело.

« Dans l'art comme dans la philosophie, dans l'amour comme dans l'amitié, dans toutes ces choses abstraites dont les événements ne peuvent nous ôter le sentiment ou le rêve, l'âge ou l'expérience prématurée nous apportent ce bienfait de nous mettre d'accord un jour ou l'autre avec nous-mêmes. »

«В искусстве, как и в философии, в любви, как и в дружбе, — во всех этих отвлечённых вещах, у которых события не могут отнять ни чувства, ни мечты, — возраст или преждевременный опыт приносят нам это благо: рано или поздно привести нас в согласие с самими собой.»

«Привести в согласие с самими собой» — вот что значит «прийти». Не победа над обстоятельствами, не покорение событиям. Просто — равновесие. Юность воюет с миром, с людьми, с собой. Зрелость не прекращает воевать — она просто научается выбирать битвы. Не достичь счастья во всех его внешних проявлениях, не стать знаменитой, не найти того, кто любил бы безусловно. Просто — стать в согласии с собой. Знать, что делаешь то, что считаешь правым. Что говоришь то, во что веришь. Что любишь тех, кого решила любить.

И в основе всего этого — три слова, которые она поставила эпиграфом своей книги, поставила в начало, как ориентир для путешествия, а не как итоговую медаль:

« *Charité envers les autres ; Dignité envers soi-même ; Sincérité devant Dieu.* »

«Милосердие к другим; достоинство перед собой; искренность перед Богом.»

Молодая она искала Бога церкви — и не нашла его там. Зрелая нашла Бога в сердце. Молодая хотела любви совершенной — и страдала от её невозможности. Зрелая поняла, что совершенная любовь — это не то, что даётся готовым, а то, что строится изо дня в день. Молодая сражалась с обществом за право быть собой. Зрелая просто была собой — тихо, последовательно, без лишних объяснений.

Был ли этот путь прямым? Нет. Она сбивалась, возвращалась, снова уходила. Были годы, когда снова казалось, что страсть победила верность; были решения, о которых потом жалела; были люди, которым причинила боль не по злему умыслу, а просто —

потому что жила слишком бурно и не успевала оглядеться. Всё это — тоже она. И всё это — тоже часть пути. Зрелость — это не когда больше не ошибаешься. Это когда умеешь признать ошибку и продолжить идти.

Переход не был одномоментным. Он занял всю жизнь. Но она его совершила.

Я думаю: немногие делают этот переход полностью. Некоторые остаются навсегда в борьбе молодости, только уставшей. Некоторые приходят к внешнему покою, но внутри не примирились ни с болью, ни с потерями, ни с собой. Ей удалось что-то редкое: дойти до настоящего покоя, не потеряв при этом ни живости ума, ни способности любить, ни вкуса к жизни. В Ноане, в последние десятилетия, она была деятельна, любопытна, страстно привязана к внукам, к природе, к труду. Это — не старость-угасание; это — старость-полнота.

Бог церкви стал Богом в сердце — и этот переход тоже не был разочарованием. Юношеская вера ищет внешней опоры: обряда, авторитета, ответа. Зрелая вера знает, что опора — внутри, и это не делает её менее твёрдой. Напротив, она твёрже — потому что её не отнять: ни закрыв храм, ни оспорив догму, ни поставив под сомнение исторические обстоятельства. Она — не в истории и не в здании. Она в том, как ты живёшь.

Я добавлю от себя: это не только женский путь. Это — человеческий. Мужчины проходят тем же путём, только реже о нём говорят. Страсть → верность; свобода → достоинство; идеал → труд; Бог как институт → Бог как совесть. Эти переходы совершаются в жизни каждого, кто живёт достаточно долго и достаточно честно. Разница только в том, замечаешь ли ты их или

нет. Санд заметила — и записала. В этом её особый дар: не прожить хорошо, а уметь рассказать о прожитом так, чтобы другой узнал себя.

Дочь моя, когда тебе покажется, что ты что-то потеряла по сравнению с тем, что было в молодости, — подумай, что, может быть, ты только обменяла страсть на верность, свободу на достоинство, идеал на труд. Это не убыль. Это иное богатство.

Заключение. Эпиграф над собственной рукописью

Она закончила свою рукопись в Ноане. Последние страницы, последние слова, поставленная точка — и тишина старого дома вокруг. Тот самый дом, который она отстояла, оживила, наполнила общим делом, смехом детей и запахом свежего хлеба. Дом, где умерла её бабушка. Дом, откуда она уходила и куда всегда возвращалась. Дом, ставший итогом — не литературным, а живым.

Жорж Санд прожила долго — дольше, чем это предполагали её бурные молодые годы, дольше, чем пережила большинство людей, которых любила. Она умерла в Ноане, в том же доме, и была похоронена в усадебном парке — среди деревьев, которые сажала или видела посаженными, среди земли, к которой возвращалась снова и снова, говоря, что она, эта бедная плоская земля Берри, и есть её настоящая родина.

Но я хочу вернуться не к концу её жизни, а к началу её книги. Потому что именно там, в самых первых строках, она поставила то, к чему пришла после всего. Три слова — как пароль, как молитва, как краткое изложение всего.

« *Charité envers les autres ; Dignité envers soi-même ; Sincérité devant Dieu.* »

«Милосердие к другим; достоинство перед собой; искренность перед Богом.»

Есть вещь, которую очень трудно передать по наследству. Веру, например, передать нельзя: можно рассказать о ней, но придёт каждый сам. Так же и зрелость: её нельзя передать как знание или навык. Можно только показать путь. И ещё раз — в этом смысл три слова в её эпитафии честны: они не речь идёт о результате, они о направлении усилия. Идти в эту сторону — вот завещание.

Почему именно эти три слова? Почему не «любовь», не «счастье», не «мудрость»? Потому что это — не описание желаемого состояния, а описание того, как нужно жить, чтобы жить верно. Это не мечта, а ориентир. Три вектора, три стороны света, по которым можно выверить себя в любой момент: когда тебе трудно с людьми — вспомни о милосердии; когда тебе трудно с собой — вспомни о достоинстве; когда тебе трудно с вопросом, для чего всё это, — вспомни об искренности.

Милосердие к другим — это не мягкосердечие, не безотказность, не готовность терпеть дурное обращение. Это умение видеть в другом человеке то же, что есть в тебе: страх, надежду, усталость, желание быть понятой. Это умение не судить прежде, чем поймёшь. Это, наконец, умение оставаться открытой, даже когда тебя ранили, — не потому что ты обязана это делать, а потому что иначе мир сужается до твоей личной обиды, а это очень маленький мир.

Достоинство перед собой — это то, что не дают тебе извне и не отнимают извне. Это — способность не терять себя ни в страсти, ни в горе, ни в успехе. Не унижаться перед теми, кого любишь, выпрашивая любовь в ответ. Не притворяться, что тебе не больно, когда больно. Не строить из себя героиню, когда ты устала. Достоинство — это честность перед собой, доведённая до

устойчивой привычки.

Искренность перед Богом — это то, что она называла «моя вера». Не вера по предписанию, не вера из страха, не вера для виду. Вера как внутреннее состояние, при котором ты живёшь так, словно за тобой наблюдает кто-то, кто видит тебя насквозь и которого не обманешь. Это не мистика и не суеверие. Это — внутренний свет, который она нашла в себе после долгих поисков и который назвала Богом, потому что другого слова не было.

Когда она ставила эти три слова на первую страницу своей книги, она, по всей видимости, понимала, что пишет над рукописью эпитафия всей своей жизни. Не тот, который хотелось бы поставить в двадцать лет — пылкий и неточный. Не тот, который продиктовал бы другой — более благопристойный или более блестящий. Свой. Выверенный жизнью.

Мне кажется, это редкий дар — написать собственный эпитафия и не солгать в нём. Большинство из нас живут, не зная своего эпитафия. Живут в чужих — в тех, которые навязала семья, или среда, или время. «Будь удобной», «будь успешной», «будь счастливой». Все это — чужие эпитафии. Свой надо заработать.

Жорж Санд зарабатывала его долго. Через детство, разорванное между двумя женщинами, через монастырь и обращение, через любви горькие и прекрасные, через пером добытый хлеб, через политические иллюзии и разочарования в них, через болезни близких и собственные, через годы в Ноане за рабочим столом, в огороде, с детьми и внуками. Всё это — цена трёх слов.

Я думаю о ней с благодарностью. Не потому что она была безупречна — нет, она ошибалась, выбирала не тех, писала лишнее,

иногда была несправедлива к тем, кто её любил. Но она не лгала себе о своих ошибках. Она смотрела на них прямо и признавала — без самобичевания, но и без уклончивости. И это «без уклончивости» — может быть, самое трудное из всего, что она умела.

Эстафета зрелости — вот что она передаёт. Не формулу счастья и не рецепт правильной жизни. Она передаёт умение нести в себе три эти слова и жить так, чтобы они не стали пустыми. Умение понимать, что зрелость — не финал, а способ существования: дающийся, требующий усилий, но дающий то, чего не даёт никакая страсть, — покой, который не безразличие, а выверенность.

Дочь моя, я прощаюсь с тобой здесь, но прощание это не разрыв. Книга, которую мы читали вместе, остаётся с тобой. Слова её сохранятся в тебе и будут работать в тебе — не как чужие, а как свои, если ты дашь им время. Мы прошли долгий путь вместе — от первых страниц её детства до этого последнего слова. Ты видела её молодой и испуганной, страстной и ошибающейся, усталой и неуклонной. Ты видела, как жизнь обтачивает человека не затем, чтобы его уменьшить, а затем, чтобы он стал точнее.

Когда-нибудь — через годы, через опыты, которые я не знаю и которые только тебе предстоит пережить, — ты поставишь эпитафию над собственной рукописью. Он не должен быть похож на её. Он должен быть твоим. Выверенным тобой, заработанным тобой, правдивым для тебя. Но я надеюсь — тихо и без настойчивости, — что где-нибудь в нём найдётся место для трёх простых слов: милосердие, достоинство, искренность.

Потому что они — не её собственность. Они — эстафета.

За тем письменным столом в Ноане, где она ставила последние точки, она не думала о памяти потомков — это было бы суетой, а суету она уже умела различать. Она думала, скорее всего, об одном: сказала ли она правду. Вся ли правда помещается в этих трёх словах. Можно ли жить по ним — не в торжественные минуты, а в обыкновенные, когда устала, когда обидели, когда не понимаешь, правильно ли поступаешь.

Она решила, что можно. Я думаю, она была права. Жорж Санд завещала нам не портрет совершенной женщины. Она завещала нам портрет честной женщины — той, которая прожила много, ошиблась много, поняла много и сумела об этом сказать без позы. Этот портрет, думается мне, дороже совершенного.

Эти три слова — не присяга, не контракт и не приговор себе. Они — маяк. Маяк не обязывает тебя не сбиться с курса; он обязывает тебя знать, где курс. Между первым и вторым — вся разница.

Цитаты приведены по изданию: George Sand. Histoire de ma vie. Paris: Victor Lecou, 1854–1855 (электронный текст — Project Gutenberg, eBooks № 39101, 41322, 42765). Переводы — авторские, выполнены для настоящей книги.